

# Октав Мирбо

## ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ

### Глава первая

Сегодня, 14 сентября, в 3 часа пополудни, в теплую, серенькую и дождливую погоду я поступила на свое новое место. Это двенадцатое за два года. Не говорю уже о местах за прежние годы. Их и не сочтешь. Ах, и чего я только не видела за это время, какие обстановки, лица, какие грязные душонки! И это не конец... После всех совершенно необыкновенных мытарств, когда я вихрем носилась с одного места на другое, то из домов в бюро, то из бюро в дома, из Булонского леса в Бастилию, с Обсерватории на Монмартр, из Терн в Гобелены, не сумевши нигде осесть прочно, не доставало только, чтобы и здесь было трудно служить. Не хочется и верить.

Дело уладилось при посредстве «маленьких объявлений» в «Фигаро» и без личного свидания с хозяйкой. Мы обменялись письмами и только: способ сомнительный, где с обеих сторон можно ожидать сюрпризов. Письма хозяйки хорошо написаны, это правда. Но они обнаруживают мелочный и мнительный характер... Ах! Ей на все нужны объяснения, всякие почему да потому... Не

знаю, скупа ли хозяйка; во всяком случае, она не разоряется на почтовую бумагу. Она куплена в Лувре. У меня при всей моей бедности больше вкуса... Я пишу на бумаге, надушенной «Peau d'Espagne», на хорошей бумаге, то розовой, то бледно-голубой, которую я собрала у своих прежних хозяек. Есть даже листы с графскими коронами... Сэкономила на бумаге.

Итак, я в Нормандии, в Мениль-Руа. Имение моей хозяйки, которое находится недалеко, называется Приерэ. Вот почти все, что я знаю о том месте, где я буду жить теперь.

Не без сожаления и беспокойства я думаю о том, что так скоропалительно похоронила себя в этой глухой провинции. То, что я здесь увидела, меня немного пугает, и я себя спрашиваю, что меня ждет впереди... Наверное, ничего хорошего и по обыкновению шалости... Эти шалости самый верный наш доход. На одну, которая пользуется успехом, то есть выходит замуж за порядочного человека или связывается со стариком, сколько приходится таких, которые обречены на неудачи и попадают в глубокий омут нищеты?.. Наконец, у меня не было выбора; и это все же лучше, чем ничего.

Мне не впервые служить в провинции. Четыре года назад у меня было такое место. О! недолго и при самых исключительных обстоятельствах. Я

вспоминаю этот случай, как будто это было вчера... Подробности, правда, несколько неприличны и даже страшны, но мне хочется все-таки рассказать об этом. Впрочем, я предупреждаю моих читателей, что я ни о чем не намерена умалчивать в этом дневнике, ни о себе, ни о других. Наоборот, я вложу в него всю свою откровенность и по мере надобности всю грубость жизни. Не моя вина в том, что души, с которых срывают покрывало и которые показывают во всей их наготе, отдают таким сильным запахом гнили.

Вот как было дело.

В одном бюро для найма какая-то толстая экономка предложила мне место горничной у некоего господина Рабура в Турэне. Мы сошлись в условиях, и было решено, что я поеду поездом и в такой-то день и час буду на такой-то станции. По этому расписанию все и сделано было.

Когда я отдала свой билет контролеру, то встретила у выхода кучера с красным и угрюмым лицом, который обратился ко мне:

— Это вы новая горничная господина Рабура?

— Да, это я.

— Есть у вас сундук?

— Да.

— Дайте мне вашу багажную квитанцию и обождите меня здесь.

Он вышел на платформу. Станционная

прислуга засуетилась. Его называли «мосье Луи» приятельским, но почтительным тоном. Луи разыскал мой сундук среди груды тюков и приказал отнести его к английской коляске, которая стояла у решетки.

— Ну вот... садитесь!

Я села рядом с ним на скамейку, и мы поехали.

Кучер искоса поглядывал на меня. Я его также рассматривала. Я тотчас же увидела, что имею дело с деревенщиной, неотесанным крестьянином, с прислугой без всякой выправки, не бывавшей никогда в больших домах. Мне это было досадно. Я люблю красивые ливреи. Больше всего меня приводят в восторг белые лосины, плотно облегающие крепкие бедра. Не было никакого шика у этого Луи, правившего без перчаток в слишком широком костюме из серо-голубого драгета и в плоской фуражке из лакированной кожи с двойным золотым позументом. Нет, право! отстали они, эти простаки. И при всей своей хмурой и грубоватой наружности это не злой дьявол в сущности. Я знаю эти типы. Вначале они всякие каверзы устраивают новичкам. А затем все улаживается, часто даже лучше, чем того хочешь.

Мы долго ехали, не проронив ни одного слова. Он старался принять вид важного кучера, высоко держал вожжи и делал округленные

движения кнутом. Нет, как это было смешно!.. Я со своей стороны приняла позу, как будто осматривала окрестности, которые ничего особенного не представляли, — поля, деревья, дома, как везде. Когда лошадь перед косогором пошла шагом, он вдруг спросил меня с усмешкой:

— Вы везете с собой, конечно, хороший запас ботинок?

— Без сомненья! — сказала я, удивленная этим совершенно неожиданным вопросом и еще более этим особенным тоном, с которым он ко мне обратился. — Почему вы меня об этом спрашиваете? Несколько глупо, знаете ли, с вашей стороны спрашивать меня об этом, дяденька...

Он меня толкнул слегка локтем и, окинув странным взглядом, в котором светилось какое-то непонятное мне двусмысленное выражение острой иронии и непристойного веселья, он насмешливо сказал:

— Ну что там!.. Притворяетесь, будто ничего не знаете... Поди — проказница... хорошая проказница!

Он прищелкнул языком, и лошадь пошла быстрым ходом.

Это меня заинтриговало. Что это могло означать? Может быть, ровно ничего... Я подумала, что этот простак был просто глуповат, не умел разговаривать с дамами и ничего не мог придумать

для разговора, который я, впрочем, решила более не поддерживать.

Имение господина Рабура было довольно большое. Красивый дом, выкрашенный в зеленый цвет, окруженный большими лужайками в цветах и сосновым лесом, от которого пахло терпентином. Я обожаю деревню... но, странно, она навевает на меня тоску и сонливость. В таком совсем сонном настроении я вошла в переднюю, где меня поджидала та же экономка, которая наняла меня в бюро в Париже, после Бог весть скольких нескромных вопросов о моих интимных привычках и вкусах; это мне внушило недоверие к ней. И каких только не приходится видеть среди них, с каждым разом наталкиваешься на худших, однако это нас ничему не учит. Экономка мне не понравилась еще в бюро; здесь она вдруг мне стала противной, и я нашла, что у нее отвратительный вид старой сводни. Это была толстая женщина, короткая и жирная, с желтоватым лицом, с гладкими седеющими волосами, с огромной, обвислой грудью, с мягкими и влажными руками, прозрачными, как желатин. В ее серых глазах проглядывала злость, злость холодная, расчетливая, способная на преступление. Взглядом она пронизывала вашу душу и тело и вызывала краску стыда на лице.

Она проводила меня в небольшую залу и

тотчас оставила, сказав, что предупредит хозяина, что хозяин хотел меня видеть перед тем, как я возьмусь за свою работу.

— Ведь хозяин вас не видел, — прибавила она. — Я вас, правда, наняла, но нужно же ведь, чтобы вы и хозяину понравились.

Я осмотрела комнату. В ней царили необыкновенные чистота и порядок. Медь, мебель, паркет, двери, тщательно вычищенные, наощенные, покрытые лаком, блестели, как зеркала. Ни пышности, ни темных обоев, ни вышитых вещей, какие встречаешь в некоторых домах в Париже. Все выдержано в стиле, богато и просто, на всем лежала печать комфорта зажиточной провинциальной жизни, порядка и покоя. Как тут должно было быть скучно! Черт побери!

Вошел хозяин. Ах, какой чудак и как он был забавен!

Представьте себе маленького старичка, одетого с иголочки, свежесбритого и совершенно розовенького — настоящая кукла. Держится прямо, очень живой и, право, милый! На ходу он подпрыгивал, как кузнечик на лугу. Он поздоровался со мной и бесконечно вежливо спросил:

— Как вас зовут, дитя мое?

— Селестина, сударь.

— Селестина, — сказал он. — Селестина?..  
Черт возьми! Красивое имя, не спорю... но  
слишком длинное, мое дитя, чересчур длинное... Я  
вас буду называть Марией, если вы позволите...  
Это также очень мило и коротко... И, кроме того, я  
всех своих горничных называл именем Мария. Мне  
было бы неприятно отказаться от этой привычки. Я  
предпочел бы отказаться от прислуги...

У всех у них эта странная мания никогда не  
называть вас настоящим именем. Я несколько не  
удивилась, так как меня уже называли чуть-ли не  
всеми святыми...

Он продолжал:

— Итак, вы ничего не имеете против того, что  
я вас буду называть Марией? Согласны?

— Да, сударь.

— Красивая девушка... добрая душа...  
Хорошо, хорошо!..

Все это он проговорил с веселым видом, очень  
почтительно, не заглядывая мне в лицо, не бросая  
на меня взглядов, не раздевая меня мысленно, как  
это обыкновенно делают мужчины. Он почти не  
смотрел на меня. С того момента, когда он вошел в  
залу, его глаза все время были прикованы к моим  
ботинкам.

— У вас есть другие? — спросил он меня  
после короткого молчания, и в это время, мне  
показалось, его глаза странно заблестели.



— Другие имена, сударь?

— Нет, мое дитя, другие ботинки...

И он при этом быстро облизывал кончиком языка свои губы, как это делают кошки.

Я не тотчас ответила. Вопрос о ботинках, который мне напомнил грязную шутку кучера, меня смутил. Это имело какое-то значение?.. Когда он настойчиво повторил свой вопрос, я наконец ответила, но глухим и смущенным голосом, как будто мне нужно было сознаться в каком-нибудь легкомысленном поступке:

— Да, сударь, у меня есть другие...

— Лакированные?

— Да, сударь.

— Хорошо... хорошо... лакированные?

— Да, да, сударь.

— Хорошо... хорошо... и желтые?

— У меня таких нет, сударь.

— Нужно иметь такие... я вам их дам.

— Мерси, сударь!

— Хорошо, хорошо... молчи!

Мне стало страшно. Глаза его вдруг потемнели, на лице показались красные пятна, а на лбу выступили капли пота. Подумав, что ему дурно, я готова была крикнуть, чтобы позвать на помощь, но кризис стал проходить, и через несколько минут он, еще со слюной в углах рта, упавшим голосом промолвил:

— Ничего... прошло... Понимаете ли, мое дитя... Я немного маньяк... В мои годы это позволительно, не правда ли? Вот, например, я не могу согласиться, чтобы женщина чистила свои ботинки, а мои тем более. Я очень уважаю женщин, Мария, и не могу выносить этого. Я сам буду чистить ваши ботинки, ваши маленькие ботинки, ваши милые маленькие ботинки... Я с ними буду возиться. Послушайте... каждый вечер перед сном вы будете приносить свои ботинки в мою комнату и будете ставить у кровати на маленький столик, а по утрам, когда придете открывать окна, вы их будете забирать.

И так как на моем лице было выражение крайнего удивления, он прибавил:

— Подумайте! Ведь я не о большом у вас прошу... это вполне естественно, наконец... И если вы действительно добрая...

Он быстро вынул из кармана два золотых и подал мне.

— Если вы будете добрая и послушная, я часто буду делать вам подарки. Экономка будет выплачивать каждый месяц ваше жалованье. А я, Мария, между нами, я вам часто буду делать маленькие подарки. И о чем же я у вас прошу?.. Ведь в этом нет ничего необыкновенного... Боже мой, разве это так необыкновенно?

Хозяин все более волновался. Когда он

говорил, его брови дрожали, как листья на ветру.

— Почему ты ничего не говоришь, Мария? Скажи что-нибудь... Отчего ты не ходишь? Пройдись немного, я хочу посмотреть, как они двигаются, как они живут... твои ботинки...

Он стал на колени, поцеловал мои ботинки, помял своими нервными пальцами, поласкал, развязал... И, целуя и лаская их, он говорил умоляющим голосом, голосом плачущего ребенка:

— О, Мария... Мария! твои маленькие ботинки... дай мне их сейчас же... сейчас... сейчас... Я хочу их сейчас... дай мне их...

Я ничего не понимала... Я вся оцепенела. Я не знала, вижу ли я это наяву или во сне. Эти глаза хозяйина — я видела только два маленьких белых шарика с красными жилками. И рот его был весь в какой-то мыльной пене...

Наконец, он унес мои ботинки и на целых два часа заперся с ними в своей комнате.

— Вы очень понравились хозяйину, — сказала мне экономка, показывая мне дом. — Постарайтесь, чтоб это было надолго. Место хорошее...

Четыре дня спустя, утром, когда я в обычный час зашла в комнату, чтобы открыть окна, я обмерла от ужаса... Хозяин лежал мертвый! Он лежал на спине посередине кровати, почти совершенно голый; чувствовалось, что это лежит уже окоченелый труп. У него было совершенно

естественное положение. Одеяло в полном порядке, простыни без малейших следов борьбы, сильных движений, агонии, царапающих рук, обороняющихся от смерти... Можно было подумать, что он спит, если бы его лицо не было синим, страшно синим, темно-синего цвета. Но еще более, чем это лицо, меня потрясло страшное зрелище... Хозяин держал в сжатых зубах мой ботинок. Зубы были так сильно стиснуты, что после страшных и бесполезных усилий вырвать из них ботинок я должна была бритвой разрезать кожу.

Я не святая... я прекрасно знаю мужчин и знаю по опыту все безумие, всю грязь, на которую они способны... Но такой мужчина, как мой хозяин?.. Ах! Право, смешно даже, что существуют такие типы. И зачем все эти выдумки, когда так просто, так мило любить по-хорошему, как все...

Думаю, что здесь ничего подобного со мной не случится. Видно, что здесь другие люди. Но лучше ли? Хуже ли? Ничего об этом не знаю...

Одна мысль мне не дает покоя. Мне нужно было бы, может быть, в один прекрасный день покончить со всеми этими грязными местами и раз навсегда переменить службу на легкий промысел, как сделали другие мои знакомые, которые были, скажу без хвастовства, «менее авантажны», чем я. Если бы я не была красивой, было бы лучше; несколько не рисуясь, могу сказать, что во мне есть

шик, которому часто завидовали женщины из общества и кокетки. Рост, может быть, слишком высокий, но я гибкая, тонкая, стройная, очень красивые светлые волосы, очень красивые голубые глаза, вызывающие и шаловливые, смелое выражение губ, наконец, умение быть оригинальной, живой и задумчивой в одно и то же время, что очень нравится мужчинам. Я могла бы пользоваться успехом. Но помимо того, что «счастливые» случаи, которые, вероятно, не повторятся больше, были упущены мною, меня охватывает страх. Боишься, потому что не знаешь, до чего дойдешь... На каких только несчастных я не наталкивалась в этой среде. Какие ужасные признания мне пришлось выслушивать!.. И этот трагизм вечного шатания по больницам!.. И в конце концов ад Сен-Лазара! Есть над чем призадуматься, есть чего бояться... Да и будет ли у меня в таком положении успех, равный тому, каким я пользуюсь, будучи горничной? То особенное впечатление, которое мы производим на мужчин, не зависит только от нас, как бы мы красивы ни были. Для меня ясно, что многое тут зависит от обстановки, в которой мы живем, от роскоши, от недостатков окружающих, от самих наших хозяев и от тех желаний, которые они вызывают. Любя нас, они отчасти и сами, а еще более их тайны способствуют тому, чтобы нас любили...

И вот еще что. Вопреки всему моему легкомыслию я часто находила в глубине своей души очень искреннее религиозное чувство, которое меня предохраняет от окончательного падения, которое удерживает на краю пропасти. Ах, если бы не было религии, молитвы в церквях, вечеров сурового раскаяния и нравственной скорби, если бы не было Святой Девы и св. Антония Падуанского, если бы всего этого не было, мы были бы еще более несчастны, это несомненно. И что еще будет, и до чего еще дойдешь, один черт знает!

Наконец — и это самое важное — у меня нет ни малейшей защиты против мужчин. Я всегда буду жертвой своего бескорыстия и их удовольствия. Я слишком влюбчива, да, я слишком обожаю любовь, чтобы извлекать из нее какую-нибудь выгоду. Она сильнее меня. Я не могу просить денег у того, кто мне доставляет наслаждение и раскрывает лучезарные двери восторга. Когда они мне говорят, эти чудовища... и я чувствую на шее прикосновение их бороды и горячее дыхание... представьте!.. Я становлюсь настоящей тряпкой, и тогда они берут от меня все, что хотят...

Но вот я в Приерэ. Что меня ожидает здесь? Право, не знаю. Самое разумное было бы совсем не думать об этом, и пусть, все идет помаленьку. Так, может быть, будет лучше всего. Несчастья безжалостно преследовали меня до сих пор.

Неужели и завтра из-за одного какого-нибудь слова хозяйки я принуждена буду уйти из-под крова! Это было бы печально. С некоторых пор я чувствую боли в животе и пояснице, какую-то слабость во всем теле, желудок расстраивается, память ослабевает... Я становлюсь все более и более раздражительной и нервной. Только что посмотрела на себя в зеркало и нашла, что лицо действительно имеет утомленный вид, а здоровый цвет лица, которым я так гордилась, стал пепельным... Неужели я уже старею? Мне еще не хочется стареть. В Париже трудно ухаживать за собой, все некогда. Слишком уж там лихорадочная и шумная жизнь. Там всегда все новые люди, новые вещи, слишком много удовольствий и новых впечатлений... Поневоле приходится так жить. Здесь спокойно... И какая тишина! Воздух здесь, должно быть, хороший, здоровый. Ах! Если бы я даже с риском поглупеть могла бы отдохнуть немного!

С самого начала в меня закралось какое-то недоверие. Правда, хозяйка довольно любезна со мной. Она мне даже сделала несколько комплиментов по поводу моего костюма и выразила удовольствие по поводу справок, которые она навела обо мне. Ах, глупая голова, если бы она знала, что эти сведения ложные, что они присланы просто из любезности... Ее поражает также мое

изящество. Впрочем, в первый день редко кто из этих верблюдов бывает нелюбезным. Все новое красиво. Это известно. У хозяйки очень холодное, жесткое выражение глаз. Эти глаза мне не по душе... в них проглядывают скупость, подозрительность и полицейский нюх. Мне не нравятся и губы ее, тонкие, сухие и как будто покрытые беловатой кожицей, и ее отрывистая, резкая речь, в которой любезность звучит как оскорбление, как издевательство. Когда она, спрашивая меня о том, о другом, о моих способностях и о моем прошлом смотрела на меня своим бесстыжим, спокойным и суровым взглядом таможенного досмотрщика, взглядом всех хозяек, я себе говорила:

— Я не ошиблась... Это еще одна из тех, которые должны все держать под ключом, считать каждый вечер куски сахара и изюмины и делать заметки на бутылках. Сколько не меняй, все одно и то же... Впрочем, посмотрю еще, не нужно поддаваться первому впечатлению. После всех тех слов, которые мне были сказаны, после тех взглядов, которыми меня пронизывали, я, может быть, услышу когда-нибудь — как знать? — и дружескую речь, встречу и нежный взгляд... Отчего бы и не надеяться, ведь это ничего нам не стоит...

Не успела я приехать и оправиться от



четырёхчасовой езды по железной дороге в третьем классе, на кухне еще не догадались предложить мне кусок хлеба, как хозяйка уже провела меня по всему дому, от погреба до чердака, чтобы непосредственно ввести во все «хозяйственные дела». О! Она не теряет времени, ни своего, ни моего... И велик же этот дом! Сколько в нем всяких уголков и как много хлопот! Да, покорно благодарю! Чтобы держать его в порядке, как следует, не хватит и четверых. Кроме нижнего этажа, очень большого, к нему примыкают еще и служат его продолжением два небольших павильона в виде террасы — в нем еще два этажа, по которым я должна буду постоянно бегать вверх и вниз. К тому же у хозяйки, которая проводит свое время в небольшой комнате рядом со столовой, явилась блестящая идея устроить прачечную, в которой я должна буду работать, на чердаке, рядом с нашими комнатами. И всевозможные шкафы, и разные ящики, и вся эта суетня, не угодно ли? Справляйся со всем этим...

Каждую минуту, показывая мне какую-нибудь вещь, хозяйка приговаривала:

— Обратите на это особенное внимание, моя дочь, это очень красивая вещь, моя дочь. Это большая редкость, моя дочь. Это очень дорого стоит, моя дочь.

Вместо того чтобы называть меня по имени,

она на каждом шагу мне повторяла «моя дочь, моя дочь» тем оскорбительным тоном госпожи, который убивает самые лучшие желания и создает такую пропасть между нами и нашими хозяйками! Разве я называю ее «маменькой»? А затем у хозяйки с языка не сходят слова «очень дорого». Это раздражает... Все, что ей принадлежит, даже грошовые безделушки, все это «очень дорого». Трудно себе представить, до чего может дойти тщеславие хозяйки дома... И до чего это отвратительно. Она мне объяснила, как нужно обращаться с керосиновой лампой, между прочим точно такой же, как и все другие лампы, и при этом предупредила:

— Знаете, моя дочь, эта лампа очень дорого стоит, ее можно поправлять только в Англии. Берегите ее как зеницу ока...

У меня было большое желание сказать ей:

— А скажи, маменька, твой ночной горшок тоже очень дорого стоит? И его также отправляют поправлять в Лондон?

Нет, право! На чем только не сказывается их нахальство и их скарედность. И когда подумаешь, что это делается только для того, чтоб тебя унижить, чтоб тебя уничтожить!

А дом вовсе уж не так хорош. И чего, право, гордиться этим домом? Снаружи большие толстые деревья, которые теснятся у самого дома, и сад,

спускающийся по легкому склону к речке, с большими четырехугольными лужайками — вид ничего себе. Но внутри... как все это тоскливо, старо, шатко и как пахнет затхлым... Не понимаю, как в нем можно жить. Настоящие мышинные норки. На этих деревянных лестницах можно шею сломать, ступеньки подгнили, трясутся и трещат под ногами, коридоры низкие и темные и вместо мягких дорожек в них какие-то красноватые плиты, глянцевитые и скользкие-прескользкие. Перегородки очень тонкие из сухих досок, и от этого в комнатах гулко как внутри скрипки. Деревенщина да и только! Меблировка также, конечно, не парижская... Во всех комнатах все то же старинное красное дерево, старинная материя, изъеденная червями, старинные, выцветшие холсты, кресла и диваны, до смешного жесткие, без пружин, с червоточинами, хромоногие... Они вам сотрут плечи и расцарапают ляжки! Я так люблю светлые обои, большие упругие диваны, на которых так сладко растянуться среди груды подушек, всю эту красивую, новую мебель, такую роскошную, богатую и веселую. И после этого такая тощища... Я никогда не сумею привыкнуть к этой неуютности, безвкусице, к этой старинной пыли и к этой мертвечине.

Хозяйка одевается далеко не по-парижски. У нее нет шика, она не знает модных портних. Она,

что называется, лыком шита. Правда, ее туалет не без претензий, но она отстала по меньшей мере лет на десять от моды. И какая мода!.. А она была бы недурна собою, если бы она хотела: по крайней мере не очень дурна. Хуже всего, что она вас совсем не привлекает, что в ней нет ничего женственного. Но у нее правильные черты лица, красивые волосы, настоящие светлые, и красивая кожа. Слишком прозрачная кожа, как будто она страдает какой-то внутренней болезнью. Я знаю этот тип женщин, и меня не обманывает их цветущий вид. Снаружи — роза, а внутри — гниль... Они не могут держаться на ногах, не могут ходить, не могут жить без поясов, без бандажей на животе, без пессариев. Сколько тут тайных ужасов и сложных механизмов... И это не мешает им чувствовать себя превосходно, когда они бывают в обществе. Наоборот! Как они кокетничают, флиртуют по углам, выставляют напоказ свои разрисованные прелести, как стреляют глазами и вертят хвостом! А настоящее им место в банке со спиртом. Ах, несчастье! Очень мало радости быть с ними, уверяю вас, и не всегда приятно им служить.

Трудно и допустить, чтобы хозяйка чувствовала слабость к мужчинам — у нее для этого нет ни темперамента, ни органического предрасположения. В выражении ее лица, в грубых жестах, в резких движениях тела совсем не

чувствуется любви, никаких следов страсти со всеми ее чарами, снисходительностью и смелостью. Настоящая старая дева — кислая, поблекшая, какая-то исхудалая, сухая, что так редко бывает у блондинок. Как трудно допустить, чтобы хозяйка под впечатлением хорошей музыки, вроде Фауста — ах, этот Фауст! — бросилась бы без памяти в объятия красивого молодца и забылась бы в восторге нахлынувших страстей... Ах нет, куда ей! Даже и в некрасивых женщинах под влиянием полового влечения светится иногда столько лучистой жизни, очарования и красоты. Хозяйка не из таких... Впрочем, и такая наружность, как у хозяйки, бывает обманчива. Я помню и более строгих и более сварливых на вид. Казалось, всякая мысль о страсти и любви была далека от них, однако они оказывались неслыханными развратницами, которых нельзя было оторвать от их лакея или кучера.

Хозяйка старается быть любезной, но это плохо ей дается, как я успела заметить. По-моему, она злая, ядовитая, любит шпионить; грязная душонка и недоброе сердце. Она должна по пятам ходить за своей прислугой и придираться на каждом шагу... «А знаете вы это?», «А умеете вы это делать?», «А у вас не валится из рук?», «Вы бережливы?», «У вас хорошая память, вы любите порядок?» И это без конца... «Вы чистоплотны?» Я

очень требовательна к чистоте. Я равнодушна к очень многому, но что касается чистоты, я непреклонна. «За кого она меня принимает, за деревенскую девушку, за мужичку, за провинциальную прислугу? Чистоплотность? Ах, знаю, это старая песня. Они все ее поют, и часто, когда подойдешь к ним поближе, когда выворачиваешь их юбки или перебираешь их белье... какие они грязные! До отвращения.

Я не особенно доверяю чистоплотности хозяйки. В ее уборной, которую она мне показывала, не заметила ни низкой мебели, ни ванны, ничего такого, что говорило бы в ее пользу. Как у нее там все скромно по части всяких книжечек, флакончиков, всех этих интимных, надушенных безделушек, которые я так люблю перебирать. Не дождусь посмотреть на хозяйку, какова она голая, забавно. То-то красotka!

Вечером, когда я накрывала на стол, в столовую вошел хозяин. Он вернулся с охоты. Это мужчина высокого роста, широкоплечий, с большими черными усами и матовым цветом лица. У него неловкие, угловатые манеры, но выглядит добрым малым. По-видимому, это не такой гений, как Жюль Леметр, которому я столько раз служила на улице Христофора Колумба, и не такой изящный, как де Жанзе — ах этот Жанзе! Но он симпатичен... Его густые, вьющиеся волосы, его

бычья шея, икры борца, мясистые, красные и улыбающиеся губы — все говорит о силе и добродушии. Я готова пари держать, что он неравнодушен к женскому полу. Я это тотчас же заметила по его подвижному, чуткому носу, по необыкновенному блеску в мягких и смеющихся глазах. Никогда, мне кажется, я не встречала мужчины с такими густыми до безобразия бровями и такими волосатыми руками. Спина у него, должно быть, покрыта шерстью, как у животного, у этого дяденьки! Как большая часть людей мало интеллигентных и очень сильных, он очень робкий.

Он осмотрел меня каким-то странным взглядом, в нем были и доброжелательность, и впечатление неожиданности, и чувство удовлетворения; в нем светились также и шаловливость, но без нахальства, и нескромность, но без грубости. Хозяин, очевидно, не привык к таким горничным, как я; я его смущаю, с первого же взгляда я произвела на него сильное впечатление. Немного смущаясь, он обратился ко мне:

— А!.. Это вы новая горничная?

Я выставила вперед свой бюст, опустила слегка глаза и скромно и кокетливо, в то же время мягким голосом, ответила просто:

— Да, сударь, это я...

На это он пробормотал:

— Так, значит, вы приехали?.. Хорошо... хорошо...

Ему хотелось поговорить, он подыскивал слова, но так как был не речист, то ничего не нашелся сказать. Меня забавляло его смущение... Помолчав немного, он спросил.

— Так это вы приехали из Парижа?

— Да, сударь.

— Очень хорошо... очень хорошо.

Потом несколько смелее:

— Как вас зовут?

— Селестина, сударь.

С решительным видом потирая себе руки, он прибавил:

— Селестина... А-а!.. Очень хорошо... Оригинальное имя... Красивое имя, право!.. Лишь бы только хозяйка не заставила вас переменить его. У нее есть эта мания.

Я отвечала с выражением достоинства и готовности к услугам:

— Я в распоряжении барыни.

— Без сомнения, без сомнения... Но это красивое имя...

Я едва удержалась от смеха! Хозяин начал ходить по столовой, затем сел вдруг в кресло, вытянул ноги и с выражением извинения во взгляде и мольбою в голосе спросил меня:

— Вот, Селестина... Я вас всегда буду



называть Селестиной... не будете ли добры помочь мне снять сапоги? Это, надеюсь, не затруднит вас?

— Конечно, нет, сударь.

— Потому что, видите ли... Эти проклятые сапоги... Они тесны. Никак не стащишь.

Изящным, скромным и вместе с тем вызывающим движением я стала на колени прямо перед ним. И когда я помогала ему снимать его мокрые и грязные сапоги, я чувствовала, что его нос раздражают мои духи и что его глаза с возрастающим интересом следили за очертаниями моего корсажа и за всем, что только можно было разглядеть через платье... Вдруг он воскликнул:

— Черт возьми! Селестина... От вас великолепно пахнет.

Не поднимая глаз и с наивным видом, я спросила:

— От меня, сударь?

— Ну-да... конечно... от вас!.. Не от моих же ног, надеюсь.

— О, сударь...

И это: «О, сударь!» звучало и протестом в защиту его ног, и в то же время дружеским упреком — дружеским и поощряющим его фамильярность. Понял ли он? Думаю, что да, потому что он снова еще сильнее и с некоторым страстным волнением в голосе повторил:

— Селестина... От вас великолепно пахнет...

великолепно...

Да! Он забывается, этот дяденька... Я сделала вид, как будто немного оскорблена такой настойчивостью, и замолчала. Робкий и ничего не понимающий в женских хитростях, он смутился. Он боялся, наверное, что зашел слишком далеко, и быстро переменял разговор:

— Вы освоились уже здесь, Селестина?

Вопрос... Освоилась ли я? Это за три часа моего пребывания здесь... Я кусала себе губы, чтобы не расхохотаться. Он смешон, этот добряк, и немного глуп.

Но это ничего. Он мне нравится. Даже в его грубоватости видна какая-то мощь. От него пахнет животным, веет теплом, которое разливается по всему телу... он мне приятен.

Я сняла сапоги и, чтобы оставить его под приятным впечатлением от нашего разговора, в свою очередь спросила у него:

— Я вижу, сударь, вы охотник. Удачная охота была у вас сегодня?

— У меня никогда не бывает удачной охоты, Селестина, — ответил он, покачивая головой. — Я ведь только брожу... Это ведь только для прогулки, чтобы не быть здесь... Я здесь скучаю...

— А! Барину скучно здесь?

После некоторой паузы он с вежливым видом ответил:

— То есть... я скучал... Потому что теперь... наконец!..

Затем с глуповатой и трогательной улыбкой на устах он спросил:

— Селестина?

— Сударь!

— Не будете ли добры дать мне мои туфли?

Прошу извинить меня.

— Но, сударь, это моя обязанность.

— Да, конечно... Они под лестницей... в темном чуланчике... налево.

Мне думается, я с ним сделаю все, что захочу! Он не злой, он поддается с первого же раза. О! его можно далеко завести...

Очень несложный обед, составленный из остатков вчерашнего, прошел без инцидентов, почти в полном молчании. Хозяин ест с большой жадностью, а хозяйка едва прикасается к блюдам, скучная, надутая. Она глотает только облатки, сиропы, капли, целую аптеку, которую нужно расставлять на столе перед ее прибором. Они очень мало говорили и притом о таких делах и местных людях, которые меня мало интересовали. Я поняла только, что они у себя очень мало кого принимают. Впрочем, видно было, что мысли их были заняты вовсе не тем, о чем они говорили. Они осматривали меня, каждый по своему, с различным любопытством: хозяйка холодно и сурово, — даже

с презрением, все более и более враждебно, придумывая уже свои грязные каверзы, которые она мне будет устраивать; хозяин многозначительно поглядывал исподлобья прищуренными глазами и бросал какие-то странные взгляды на мои руки, хотя и старался замаскировать это. Право, не понимаю, почему мужчины так интересуются моими руками? А я делала вид, что ничего этого не замечаю. Я уходила и приходила, держась прямо, с достоинством, с видом занятого человека и... замкнутая в себе. Ах! если бы они могли видеть мою душу, если бы они могли подслушать, что у меня делается внутри, как я видела и подслушивала в их душах!

Я очень люблю прислуживать за столом. Тут видишь хозяев во всей нечистоплотности и мелочности их душ. Вначале осторожные и как бы стесняющиеся друг друга, они мало-помалу начинают распоясываться и показывать себя такими, какие они есть на самом деле, без румян и белил, забывая, что около них ходит человек, который подслушивает и подмечает их пороки, их нравственную уродливость, все эти пошленькие и гаденькие мечты, которые таятся в почтенных головах благородных людей. Уловить, определить и запомнить все их вождедения, чтобы приготовить себе из этого страшное оружие для того времени, когда придется сводить с ними свои счета, — это

самое большое удовольствие в нашей службе, это самая лучшая месть за наши унижения.

Из этой первой встречи со своими новыми хозяевами я не могла составить точного представления об их образе жизни. Я чувствовала только, что хозяйство идет плохо, что хозяин ничего не значит в доме, что глава в доме хозяйка и что он дрожит перед ней, как маленький ребенок. О! Этому бедному человеку нельзя даже смеяться каждый день.

За десертом барыня, которая не спускала глаз с моих рук, плеч, корсета в течение всего обеда, сказала ясным и резким голосом:

— Я не люблю, когда употребляют духи.

Я не отвечала, делая вид, что не понимаю, что это относится ко мне:

— Вы слышите, Селестина?

— Хорошо, мадам.

Я украдкой посмотрела на бедного барина, которому нравятся духи, мои, по крайней мере.

Держа обе руки на столе, с виду равнодушный, но на самом деле удрученный и уязвленный, он следил глазами за пчелкой, которая летала над блюдом с фруктами. В столовой воцарилось мертвое молчание, которое усугублялось наступившими сумерками. Какая-то невыразимая тоска, какая-то невероятная тяжесть нависли над этими двумя существами, и я

спрашивала себя, зачем живут, что делают эти люди на земле?

— Лампу, Селестина!

Это был голос барыни, который еще резче звучал в этой тишине, в этой темной комнате. Я вздрогнула.

— Видите, что темно стало. Мне нужно вам напоминать о лампе? Надеюсь, это будет в последний раз?

Когда я зажигала лампу, ту лампу, которую могут поправлять только в Англии, мне захотелось крикнуть бедному барину:

— Подожди, мой друг, не бойся... и не падай духом. Ты у меня будешь и есть и пить духи, которые ты любишь и которых у тебя нет. Ты будешь вдыхать их, я тебе обещаю, в моих волосах, на моих устах, на моей шее, на моей коже. Мы ей покажем, этой дуре, как можно радоваться и наслаждаться... я тебе отвечаю за это.

И чтобы удостоверить это немое обращение, я, когда ставила лампу на стол, слегка коснулась руки барина и ушла.

Служба моя не из веселых. Кроме меня, в доме еще только две прислуги — кухарка, которая вечно дуется, и кучер-садовник, от которого никогда слова не услышишь. Кухарку зовут Марианной, кучера — Жозефом. Неотесанный мужик. И что за дураки! Она — толстая, жирная,

обрюзгая, вымазанная, с тройным подбородком, на шее грязная косынка, которой она, говорят, вытирает свои горшки; огромная, безобразная грудь, выпирающая из какой-то голубой, засаленной кофты, в короткой юбке на толстых бедрах, с огромными ногами в серых шерстяных чулках. Он — без манжет, в рабочем фартуке, в деревянных башмаках, бритый, худой, нервный, с безобразной линией рта, которая рассекает ему все лицо от одного уха до другого, с какой-то кривой походкой и медвежьими движениями. Таковы мои два товарища.

Для прислуги нет столовой. Мы обедаем на кухне, на том же самом столе, на котором кухарка целый день стряпает, рубит мясо, чистит рыбу, режет зелень своими пальцами, толстыми и круглыми, как колбаса. Да, не блестяще... Когда печь топится, в кухне можно задохнуться. Пахнет залежавшимся жиром, прогорклым соусом, пережаренным маслом. А когда мы едим, из котла, в котором варится похлебка для собак, поднимается такой смрад, что захватывает дух и начинаешь кашлять. Стошнит хоть кого! Заключение в тюрьмах и собак на псарнях содержат лучше.

Нам дали к обеду свиное сало с капустой, вонючий сыр и кислый сидр. И ничего больше. Тарелки глиняные, эмаль на них потрескалась, и они пахнут прогорклым жиром. Вилки из белого

железа дополняют собой эту красивую посуду.

Будучи новичком в доме, я не хотела жаловаться. Но я не хотела и есть тем не менее. Охота еще больше испортить себе желудок, благодарю покорно!

— Почему вы не кушаете? — спросила меня кухарка.

— Мне не хочется.

Я это сказала с большим достоинством. Марианна замолчала.

— Вам бы, может быть, трюфелей, барышня?

Без гнева, но сдержанно и гордо я ответила на это:

— Поверьте, я ела трюфели... Может быть, больше, чем кто-либо из здешних.

Она замолчала.

Между тем кучер запикивал в рот большие куски сала и поглядывал на меня сверху вниз. Не могу объяснить себе, почему взгляд этого человека меня стесняет... и его молчание меня смущает. Он уже не молод, однако я поражена его гибкостью, мягкостью его движений; спина у него изгибается, как у змеи. Я его опишу подробней. У него жесткие волосы с проседью, низкий лоб, косо расположенные выпуклые глаза, широкие, крепкие челюсти, длинный, мясистый, слегка приподнятый подбородок, все это придает ему какой-то странный вид, который я не могу определить. Простак он или



хитрец? Не скажешь. Любопытно, однако, что он меня так занимает. Впрочем, впечатление слабеет. Все это мое романтическое, склонное ко всяким преувеличениям, воображение. И вещи и люди кажутся мне лучше или хуже, чем они на самом деле.

После обеда Жозеф, не говоря ни слова, вытащил из кармана своего фартука «Libre Parole» и принялся за чтение, а Марианна после двух стаканов сидра размякла и стала любезней. Развалившись на стуле с засученными рукавами и со сбившейся косынкой на прилизанных волосах, она стала расспрашивать меня, откуда я, где была, на хороших ли местах служила, антисемитка ли я? И мы некоторое время беседовали почти дружески. Я в свою очередь расспрашивала о порядках в доме, бывают ли гости и какие, как хозяин к горничным относится, есть ли у хозяйки любовник?

Ах, Боже! Нужно было только посмотреть на нее и на Жозефа, которого мои вопросы отрывали от чтения. Как они были смешны в своем смущении! Трудно себе представить, как они здесь отстали, в деревне. Тут ничего не знают, ничего не видят, ничего не понимают. Их смущают самые обыкновенные вещи. И все-таки, несмотря на его неуклюжий и почтенный вид, на ее добродетельные и развязные манеры, попробуйте меня уверить, что они не спят вместе! Ах! Нет! Право, нужно

свихнуться, чтобы связаться с таким типом.

— Сейчас же видно, что вы приехали из Парижа или Бог весть еще откуда? — упрекнула меня кухарка.

А Жозеф, качая головой, в свою очередь прибавил коротко:

— Не иначе!

Он опять принялся за чтение «Libre Parole». Марианна с трудом поднялась со стула и сняла котел с огня. Мы больше не разговаривали.

А я думала о своем последнем месте, о лакее Жане. Какой он был изысканный со своими черными бакенбардами и белой выхоленной, чисто женской кожей. Ах! Какой этот Жан был красивый малый, такой веселый, изящный, деликатный, ловкий, как он нам рассказывал шаловливые и трогательные истории, как он нас посвящал в содержание писем нашего хозяина. Как здесь все по-другому... Как я могла попасть сюда, к этим людям, так далеко от всего, что я люблю?

Я почти готова расплакаться.

Пишу эти строки в моей комнате, в грязной маленькой комнате под крышей, где свободно гуляет ветер, где зимой холодно, а летом очень жарко. Из мебели в комнате только плохенькая железная кровать и плохенький белый шкаф, который не запирается и в котором я не могу даже разложить свои вещи. Как это все обидно! Для того,

чтобы продолжать свой дневник или только читать свои романы, которые я привезла с собой, мне придется покупать свечи за собственные деньги. К хозяйским свечам не подберешься. Они под замком.

Завтра постараюсь навести здесь порядок. Над кроватью я повешу мое маленькое позолоченное распятие, а на камине поставлю св. Деву, нарисованную на фаянсе, свои коробочки, книжечки и фотографии Жана. Попробую из этой лачуги устроить укромный и уютный уголок.

Комната Марианны по соседству с моей. Она отделяется только тонкой перегородкой, и слышно все, что там делается. Я думала, что Жозеф, который спит в общей, придет, может быть, к Марианне. Но его не слышать. Марианна давно уже пришла. Она кашляла, плевала, двигала стульями. Теперь она храпит... Они, должно быть, этим делом занимаются по воскресеньям!

Собака лает далеко в деревне. Скоро два часа и моя свеча гаснет... Мне тоже придется лечь. Но я чувствую, что не смогу заснуть.

Ах! Как я боюсь состариться в этом чулане!

## Глава вторая

*15 сентября.*

Я еще ни разу не упоминала имен моих хозяев. Имена довольно смешные: Исидор и

Евфразия Ланлер... Евфразия! Недурно звучит.

Лавочница, к которой я ходила за шелком, рассказала мне про дом. Хорошего мало. Правда, и болтлива же эта женщина... Если поставщики моих хозяев так говорят о них, то что же должны говорить люди, которые от них не зависят? Ну и язычки тут в провинции!

Отец хозяина был фабрикантом и банкиром в Лувье. Он оказался злостным банкротом, его разорение проглотило все мелкие сбережения местных жителей, он был осужден на десять лет тюрьмы. Но в сравнении со всеми его обманами, подлогами, воровством и другими преступлениями, которые он совершил, это было мягкое наказание. Во время отбывания наказания в Гальоне он умер. Но успел в свое время спрятать на стороне и в верном месте, по-видимому, 450 тысяч франков. Эти-то деньги, так ловко спрятанные, и составляют все личное состояние хозяина. Натэ же! Вовсе не хитрая штука разбогатеть.

Отец хозяйки был еще хуже, хотя и не сидел в тюрьме и умер уважаемый всеми честными людьми. Он торговал людьми. Лавочница мне объяснила, что при Наполеоне III, когда еще не было всеобщей воинской повинности, как теперь, богатые молодые люди, «вытянувшие жребий», имели право «откупиться от службы». Они обращались в такое агентство, которое за

известную сумму денег — от одной до двух тысяч франков, смотря по риску — подыскивало им бедняка, который соглашался прослужить за них семь лет, а в случае войны и умереть. Таким образом, во Франции торговали белыми, как в Африке — черными... Существовали рынки, на которых продавали людей, как скот, да еще на какую бойню! Впрочем, меня это не особенно удивляет. Разве теперь этого нет? А рекомендательные конторы и публичные дома, разве это не базары, где продают рабов, разве это не лавки, где покупают человеческое мясо?

По словам лавочницы, это была очень прибыльная торговля, и отец хозяйки, у которого была монополия на весь департамент, проявил в ней большие способности, то есть оставлял у себя и клал в свой карман большую часть уплачиваемой суммы. Вот уже десять лет как он умер. Будучи мэром Мениль-Руа, помощником мирового судьи, генеральным советником, директором фабрики, казначеем благотворительного общества, получил орден и оставил после себя кроме Приерэ, которое купил за бесценок, еще миллион двести тысяч франков, из которых на долю хозяйки досталось шестьсот тысяч. У хозяйки есть брат, с которым случилась какая-то история... Разное болтают: деньги не совсем чистые... Да иначе, по-моему, и не бывает, я видела только грязные деньги и

никогда не встречала честных богачей.

У Ланлеров больше миллиона, и капитал их растет. Они проживают не больше третьей части своих доходов. Они всегда недовольны и другими, и собой, готовы ругаться из-за счета, отказаться от своего слова, не признавать тех условий, которые сами приняли и подписали. Во всяком деле с ними приходится быть на чеку и не давать повода к спорам, потому что они готовы воспользоваться им, чтобы не платить, особенно мелким торговцам, которым не по силам издержки по судебному процессу, и беззащитным беднякам. Понятно, они благотворительностью не отличаются. Время от времени дают только на церковь, потому что они набожные. Нищие же могут умереть с голоду пред воротами Приерэ. Их мольба не будет услышана, и ворота останутся на запоре.

— Я даже думаю, — продолжала лавочница, — что если бы они могли стащить что-нибудь из сумы у нищего, то они сделали бы это с радостью, без всяких угрызений совести.

— Вот вам хороший пример, — прибавила она. — Мы тут все еле перебиваемся. Но когда святим свой хлеб, то бедным раздаем куличи. Это вопрос чести и христианской любви. А они, эти скаредники, что дают? Хлеб, моя дорогая, и не белый, не первосортный, нет... черный хлеб... разве это не позор? Такие богатые люди! Жена

бондаря Помьера как-то слышала, как священник упрекал госпожу Ланлер за такую скупость. «С них и этого много», — ответила она ему.

Нужно быть справедливой и к хозяевам. Если все одного мнения на счет хозяйки, то ничего подобного не говорят о хозяине, его не ругают. Все даже готовы признать, что хозяин негордый человек и был бы благородным и добрым, если бы только мог. Но, к несчастью, он ничего не может сделать.

Хозяин ничего не значит в доме. Кошке и той больше позволяется. Ради спокойствия он мало-помалу отказался от своего авторитета хозяина и потерял всякое достоинство, как муж, который под башмаком у своей жены. Всем заправляет в доме хозяйка. Она сама за всем смотрит, за конюшней, за черным двором, садом, за погребом, за сараем и везде успеваает накричать. Все делается не так, как она хочет, и все ей кажется, что ее обворовывают. Пройдоха, нечего сказать! Ее не проведешь, всех насквозь видит! Она сама платит по счетам, получает проценты и арендную плату, заключает всякие сделки. Она пронырлива, как старый конторщик, груба как судебный пристав и изобретательна как ростовщик... Она, понятно, крепко держится за кошелек и раскрывает его только тогда, когда нужно положить деньги. Хозяин по ее милости ходит без копейки, и ему,

бедному, табаку не на что купить. Среди такого богатства он больше всех здесь нуждается в деньгах. Однако он никогда не протестует. Он подчиняется своей участи. Ах, как он смешон подчас бывает с этим видом глупой, послушной собаки! Нужно его видеть, когда в ее отсутствие приходит лавочник со счетом, нищий или рассыльный, которому нужно дать на чай. Как он комичен бывает! Он ищет по карманам, ощупывает себя, краснеет, извиняется и жалобным тоном говорит:

— Позвольте! Совсем нет мелочи... У меня только тысячефранковый билет... Может быть, разменяете? Нет? Ну, тогда придется еще раз прийти...

Это у него-то тысячефранковый билет, когда у него никогда не бывает и ста су за душой! Почтовую бумагу и ту хозяйка запирает от него на ключ и выдает только по одному листку и при этом ворчит:

— Благодарю! Всю бумагу изведешь... И кому это ты столько пишешь?

Никто не может понять этой недостойной мужчины слабости, и его упрекают в том, что он позволяет такой мегере так обращаться с собой. Наконец, — и все об этом знают, хозяйка сама на всех перекрестках рассказывает — они вовсе не принадлежат друг другу. Хозяйка больна, не может



иметь детей и слышать не хочет об этом. Это у нее, по-видимому, вызывает страшные боли. По этому поводу здесь циркулирует интересная история...

На исповеди хозяйка рассказала обо всем священнику и спросила у него, можно ли им с мужем... не по-настоящему...

— Что это значит *«не по-настоящему»*, мое дитя?.. — спросил ее священник.

— Я сама в точности не знаю, батюшка, — ответила хозяйка, растерявшись. — Это такие ласки...

— Такие ласки!.. Но, мое дитя, разве вы не знаете, что... такие ласки... смертный грех...

— Поэтому-то я и прошу разрешения у церкви...

— Да! Да! Впрочем... посмотрим... такие ласки... часто?

— Мой муж человек крепкий... здоровый... два раза в неделю, может быть...

— Два раза в неделю? Много... слишком много. Это уже разврат. Какой бы он здоровый ни был, ему не нужны два раза в неделю... такие ласки.

Он постоял несколько секунд в раздумье, и наконец сказал:

— Так и быть... я разрешаю... такие ласки два раза в неделю... однако, при условии... во-первых, вы лично никакого греховного удовольствия от

этого получать не должны...

— Ах! клянусь вам, батюшка!

— Во-вторых, вы должны ежегодно жертвовать двести франков... на алтарь Пресвятой Девы.

— Двести франков! — подпрыгнула хозяйка... — За это?.. О, нет!..

— И после всего этого, — продолжала лавочница, которая мне рассказывала эту историю, — хозяин так мягок, так добр к женщине, которая не только денег ему не дает, но и никаких наслаждений! Я бы ей показала...

Барин — человек здоровый и очень страстный и, кроме того, очень добрый. Нужны ему деньги на развлечения или на милостыню для бедных — к каким только смешным приемам, грубым уловкам и самым неудобным займам ему не приходится прибегать в таких случаях. А когда это все раскрывается, хозяйка устраивает ужасные сцены, поднимаются ссоры, которые тянутся часто целыми месяцами. Барин тогда убегает из дома и носится по полям, как сумасшедший, со страшными, угрожающими жестами, разбрасывая комья земли и разговаривая сам с собою, и это — в дождь, в бурю, в снег... Затем он возвращается вечером домой робкий, согнувшийся, дрожащий и еще более послушный, чем раньше...

Смешно и печально то, что, несмотря на все

упреки со стороны лавочницы, несмотря на все эти разоблачения и грязные истории, которые передаются из уст в уста, из дома в дом, из одной лавки в другую, я чувствую, что Ланлерам все скорее завидуют, чем презирают. Они и преступны, и бесполезны, и даже вредны для общества, они всех подавляют своим миллионом, однако именно этот миллион и окружает их ореолом уважения и даже славы. Им кланяются ниже, чем другим, их принимают с большей готовностью, чем других. Эту грязную лачугу, в которой они по своей скупости живут, называют замком, да еще с какой пошленькой угодливостью! И я уверена, что туристу, который интересовался бы окрестностью, эта самая лавочница, несмотря на всю свою ненависть к ним, стала бы рассказывать:

— У нас красивая церковь... красивый фонтан... у нас, кроме того, есть еще одна достопримечательность... Ланлеры... Они миллионеры и живут в замке... Они отвратительные люди, и мы ими очень гордимся...

Преклонение перед миллионом! Эта черта свойственна не только буржуа, но в большинстве случаев и нам, маленьким, незаметным людям, без гроша за душой. И у меня, несмотря на мою заносчивость и гордость, у меня та же слабость. Богатство меня подавляет, я ему обязана своими печальями, своими пороками, своей ненавистью,

своими унижениями, своими несбыточными мечтами, самыми ужасными мучениями, и все-таки, когда я вижу богатого человека, я против своего желания смотрю на него как на какое-то особенное, красивое существо, как на какое-то божество, и против моей воли и рассудка в глубине моей души начинает подниматься какое-то чувство удивления, восхищения перед этим богачом... Как глупо! Почему? И за что?

Уходя из этой странной лавки болтливой торговки, где я не могла между прочим набрать нужного мне шелка, я с отчаянием думала обо всем, что мне эта женщина рассказала про моих хозяев. Моросило. Небо было такое же мутное, как душа этой сплетницы-лавочницы. Я с трудом передвигалась по скользкой грязной мостовой и злилась на торговку, на своих хозяев, на самое себя, злилась на это деревенское небо, на эту грязь, в которой вязли мои ноги и моя душа, на эту смертельную скуку маленького городка и все время повторяла:

— Так, так!.. Ловко попалась. Мне только этого и не доставало. И до чего я дошла!

О, да! Я низко пала! Чего хуже.

Хозяйка одевается без моей помощи и сама причесывает себе волосы. Она запирается на ключ в своей уборной, и я почти не имею права туда зайти. Один Бог ведает, что она там делает по целым

часам! В этот вечер я не выдержала, громко постучала в дверь, и между нами завязался небольшой разговор. Тук, тук!

— Кто там?

Ах, этот пронзительный, визгливый голос! Так и хотелось бы смазать ее кулаком по роже...

— Это я, барыня.

— Что вам нужно?

— Я хочу убрать комнату.

— Она убрана, ступайте... И приходите только тогда, когда я позвоню.

Это значит, что я даже не горничная здесь. Я не знаю, что я здесь и какие у меня обязанности! Одевать, раздевать, делать прическу — это мне больше всего нравится в моем занятии. Я люблю возиться с ночными рубашками, кружевами и лентами, разбирать белье, шляпы, кружева, меха, растирать своих барынь после ванны, пудрить их, шлифовать им ногти, брызгать духи им на грудь, на волосы, наконец, знать их от головы до ног, видеть их совершенно голыми... Они перестают тогда быть для вас только хозяйкой, они становятся почти другом, часто даже рабом... Совершенно невольно становишься поверенной всех их дел, знакомишься с их печальями, пороками, любовными разочарованиями, самыми интимными тайнами супружества, их болезнями. При известной ловкости удается всякими мелочами держать их в

руках, и они даже этого не замечают. В убытке от этого не бываешь. Это и выгодно, и забавно. Вот как я понимаю службу горничной.

Трудно себе представить, сколько — как бы это сказать? — сколько неприличия, непристойности в их тайнах, даже у тех, которые в свете слынут за самых сдержанных, строгих, за неприступную добродетель... Ах, в уборных маски спадают... Какие изъяны, какие трещины появляются на самых гордых фасадах!

У одной из моих хозяек была смешная привычка. По утрам, прежде чем одеть рубашку, и по вечерам после того, как я раздевала ее, она по четверти часа рассматривала себя, голая, перед зеркалом. Затем она выставляла грудь вперед, откидывала голову назад, быстрым движением поднимала руки вверх, и груди, которые у нее висели как жалкие тряпки, немного поднимались. Она спрашивала меня:

— Селестина, посмотрите!.. Не правда ли, они еще крепкие?

Можно было со смеху надорваться. Да и все тело хозяйки походило на жалкие руины. Когда она, снявши рубашку, освобождалась от всех своих повязок и поясов, то можно было подумать, что она сейчас разольется липкой жидкостью по ковру. Живот, торс, груди — все это было похоже на пустые мехи, на вывернутые карманы, которые

висят грязными складками... Ляжки дряблые, кожа вся изрытая, в морщинах, как старая губка. И все-таки в этих разрушающихся формах видна была какая-то печальная грация или скорее воспоминание о грации, грации женщины, которая была когда-то красива и всю свою жизнь прожила для любви. Как большинство стареющих женщин, она в своем ослеплении не замечала, как она с каждым днем все более увядает, и прилагала все старания, пускала в ход самое тонкое кокетство, чтобы еще и еще раз вызвать Любовь. И любовь приходила на этот последний зов... Но откуда? Ах, как это было грустно!

Иногда она, запыхавшись, смущенная, возвращалась перед самым обедом:

— Скорей, скорей... Я запоздала... Разденьте меня...

Откуда она возвращалась с таким утомленным лицом, с синевой под глазами, обессиленная, еле держась на ногах? И в каком беспорядке все, что на ней было одето!.. Рубашка изодранная и грязная, юбки наскоро завязаны, корсет криво и слабо затянут, подвязки не застегнуты, чулки опущены... В сбившихся волосах еще висели легкие шерстинки от сукна и пушинки от подушек! От поцелуев румяна на губах и щеках потрескались, и складки и морщины лица зияли, как раны... Чтобы отвести мои подозрения, она начинала жаловаться:

— Не знаю, что со мною было... У портнихи мне дурно сделалось... Пришлось раздеть меня... Я еще теперь себя плохо чувствую...

И часто из жалости я делала вид, что принимаю эти глупые объяснения за чистую монету.

Однажды утром, когда я была с хозяйкой, раздался звонок. Лакей куда-то ушел, и я пошла открыть. Вошел молодой человек, какая-то темная, подозрительная личность — не то рабочий, не то бродяга... Один из тех, которых можно встретить иногда на Дурлановских балах и которые живут воровством или развратом. Лицо бледное, небольшие черные усы, красный галстук. На плечах висел слишком широкий вестон, и он слегка раскачивался, стараясь делать самые изящные движения. Смущенным от неожиданности взглядом он стал рассматривать богатую обстановку передней, ковры, зеркала, картины, обои. Затем он протянул мне письмо для барыни и, картавя и растягивая слова, сказал повелительным тоном:

— Попросите ответа.

Пришел ли он по своему делу или это был только посредник?.. Первое предположение было вернее. Люди, которые приходят по чужому делу, не держатся и не говорят с таким авторитетом...

— Я посмотрю, дома ли барыня, — сказала я из предосторожности, поворачивая письмо в руках.



— Она дома, — возразил он. — Я знаю... Без лишних слов! Мне некогда...

Хозяйка прочитала письмо. Она покраснела и, от испуга забыв про меня, прошептала:

— Он здесь, у меня?.. Вы его оставили одного в передней? Как он узнал мой адрес?

Но она тотчас же пришла в себя и прибавила:

— Ничего... Я его не знаю... Это какой-то бедный... и стоящий участия человек... У него мать умирает...

Она поспешно открыла дрожащей рукой свой стол и вынула стофранковый билет:

— Отнесите ему... скорее... Бедный малый!..

— Однако!.. — невольно процедила я сквозь зубы. — Барыня сегодня очень добра, и бедным везет.

Я особенно подчеркнула слово «бедным».

— Ступайте же! — приказала она, едва владея собой.

Барыня особенною любовью к порядку не отличалась, и все ее вещи валялись на столах, на стульях. Но когда я вернулась, письмо уже было разорвано и последние лоскутки его догорали в камине.

Я так и не узнала, что это был за молодой человек. И я его больше не видала. Но что мне доподлинно известно, так это то, что барыня в это утро, перед тем как надеть рубашку, не стояла голая

перед зеркалом и не спрашивала меня, поднимая свои жалкие груди: «Не правда ли, они еще крепкие?» Целый день она оставалась у себя в комнате, беспокойная, нервная, напуганная.

С этого времени, когда она запаздывала вечером, я всегда боялась, чтобы ее не убили где-нибудь. Мне приходилось иногда говорить по поводу моих опасений с нашим старшим лакеем, маленьким старичком, с отвратительным, пошлым лицом, с красными пятнами на лбу.

— Еще бы!.. Уверен, что с ней это когда-нибудь случится... Нужно же ей бегать за сутенерами, этой старой распутнице, почему бы ей здесь, в доме, не обратиться к надежному человеку?

— К вам, может быть?.. — шутила я.

И старший лакей громко заявлял при общем смехе окружающих:

— Что ж... Смею уверить, осталась бы довольна, и недорого бы взяла...

Тоже был сокровище...

С моей предпоследней хозяйкой была другая история. И перемывали же мы ее косточки, когда сидели, бывало, все за столом после ужина! Теперь я вижу, мы были неправы, потому что хозяйка эта не была злой женщиной. Она была мягкая, благородная и несчастная... Сколько подарков я от нее получила! Иногда, нужно сознаться, наш брат бывает слишком груб и неблагодарен. И страдают

от нас в таких случаях как раз самые благородные хозяйки.

Муж этой барыни — какой-то ученый, член не знаю уж какой академии — был крайне невнимателен к ней. И не потому, чтобы она была безобразна; наоборот, она была очень красива. И за другими женщинами он не бегал, это был на редкость скромный человек. Не очень молод и, очевидно, не страстный человек. По целым месяцам он не бывал в супружеской спальне. И она в отчаяние приходила... Каждый вечер я готовила ей красивый туалет для любви, прозрачные рубашки, крепкие духи и другие вещи... Она говорила мне:

— Сегодня, Селестина, он, может быть, придет... Вы не знаете, что он делает?

Барин в своей библиотеке, работает.

Она делала нетерпеливый жест.

— Боже мой! Вечно в этой библиотеке!

И со вздохом прибавляла:

— Он все-таки, может быть, придет сегодня...

Я гордилась ее нарядами, красотой, ее страстностью — это было все до некоторой степени делом моих рук. Я рассматривала ее с восхищением и говорила ей:

— Барин сделает большую ошибку, если не придет сегодня. Один восторг — смотреть на вас. Уверена, что он в эту ночь совсем потеряет голову!

— Ах! Молчите... молчите!.. — шептала она.

Понятно, на другой день были только одни печали, жалобы, слезы...

— Ах, Селестина!.. Муж не приходил ночью... Я его всю ночь прождала... а он не пришел... Он больше никогда не придет!

Я ее старалась утешить:

— Барин был, наверное, очень утомлен своей работой. Ученые редко думают об этом... И не знаешь совсем, о чем они думают. Может быть, вы испробовали бы гравюры для барина? Есть, кажется, такие красивые гравюры, против которых не могут устоять даже самые холодные мужчины...

— Нет, нет... Зачем?

— Вы бы сказали, чтобы барину по вечерам подавали побольше пряностей, раков...

— Нет! Нет!

Она печально качала головой.

— Он меня не любит, вот мое горе... Он меня больше не любит...

Затем, робко, без злобы, скорее с мольбой в голосе, она спрашивала меня:

— Селестина, будьте откровенны со мной. Мой муж никогда вас не трогал? Он не обнимал вас когда-нибудь? Он вас никогда...

— Нет... какая мысль!

— Скажите мне, Селестина!

— Уверяю вас, что нет, барыня... Ах! Барин

просто смеется над этим! И неужели вы думаете, что я могла бы вам доставить такую неприятность?

— Вы бы лучше сказали мне... — умоляла она. — Вы красивая девушка... У вас такие страстные глаза... у вас должно быть очень красивое тело!..

Она заставляла меня ощупывать ее грудь, руки, бедра. Она во всех подробностях сравнивала свое тело с моим, с таким бесстыдством, что я смущалась и краснела, и я думала, не уловка ли это с ее стороны и не скрывается ли за этой скорбью покинутой женщины какая-нибудь иная мысль, страсть ко мне... Она не переставала вздыхать:

— Боже мой, Боже мой!.. Ведь я не старая женщина... И не дурна собой... Не правда ли, у меня не толстый живот?.. Неправда ли, у меня упругая и нежная кожа?.. И у меня столько страсти... если бы вы знали... столько чувства!..

Часто, вся в слезах, она бросалась на диван, прятала свою голову в подушку, чтобы заглушить рыдания, и бормотала:

— Ах, Селестина!.. Никогда не любите... не любите... это большое... большое... большое несчастье!

Когда она однажды плакала более обыкновенного, я вдруг к ней обратилась:

— На вашем месте, барыня, я завела бы любовника. Вы слишком красивая женщина, чтобы

так оставаться...

Мои слова испугали ее, и она вскрикнула:

— Молчите... о, молчите...

Я настаивала:

— Но у всех ваших подруг есть любовники...

— Молчите... Никогда не говорите мне больше об этом...

— Но вы такая страстная!

Совершенно хладнокровно и спокойно я ей назвала одного очень шикарного молодого человека, который часто ходил к ним, и прибавила:

— Вот кто любил бы!.. И какой он, вероятно, ловкий и деликатный с женщинами!

— Нет... Нет... Вы не знаете, что говорите...

— Как хотите... Ведь я только для вас стараюсь.

И когда барин за лампой в библиотеке выводил какие-то круги и цифры на бумаге, она, погруженная в свои мечты, повторяла про себя:

— Он, может быть, придет сегодня ночью?..

Каждый день, когда мы сходились за завтраком, это было единственной темой наших разговоров... У меня все спрашивали:

— Ну? Как? Пришел он наконец?..

— Все еще нет...

Подумайте только, что это была за благодарная тема для грязных шуток, неприличных намеков, оскорбительных насмешек. Держали даже

пари на тот день, когда хозяин наконец решится «прийти».

Из-за какой-то ничтожной ссоры, в которой я была кругом виновата, я оставила хозяйку. Я ее покинула со скандалом, бросив ей в лицо, в это бедное, удивленное лицо, всю ее плачевную историю, все ее маленькие интимные страдания, все тайны ее маленькой души, все жалобы, капризы, прелести и страсти... Да, все это я ей бросила в лицо, как ком грязи. И еще хуже. Я ее обвинила в самом грязном разврате, в самых низменных страстях... Это была отвратительная сцена.

Порой у меня появляются какие-то непреодолимые припадки бешенства, какое-то сумасшествие, которое меня толкает на самые невероятные поступки... Я не сопротивляюсь этому, даже когда сознаю, что поступаю против своих интересов, что сама готовлю себе беду.

На этот раз я зашла слишком далеко в своей несправедливости и невозможных оскорблениях. Вот что я сделала. Через несколько дней после того, как я ушла от своей хозяйки, я взяла открытое письмо и написала это милое послание с таким расчетом, чтобы все в доме могли его прочесть. Да, у меня хватило дерзости так написать:

«Уведомляю Вас, сударыня, что отсылаю Вам все эти, с позволения сказать, подарки, которые Вы мне

сделали. За пересылку заплачено. Я бедная девушка, но у меня слишком много достоинства, я слишком люблю чистоту, чтобы сохранять эти грязные тряпки, которые вы мне подарили вместо того, чтобы их выбросить. Не воображайте, пожалуйста, что из бедности соглашусь носить Ваши безобразные юбки, совершенно истрепанные и пожелтевшие... Имею честь кланяться».

Это было грубо, что и говорить!.. Но, кроме того, это было и глупо. Как я уже упоминала, хозяйка была очень добра ко мне. Ее вещи я на следующий день продала за четыреста франков.

Я так поступила, вероятно, просто с досады, что потеряла такое хорошее место, где я жила не как горничная, а как принцесса, в полном довольстве, припеваючи.

Да что там! С хозяевами некогда быть справедливой. Пусть хорошие платятся за дурных...

А здесь? В этой деревенской глуши, с этой отвратительной хозяйкой нечего и мечтать о таком раздолье, нечего и надеяться на такие развлечения. Бегать по хозяйству... шить до одурения... больше тут нечего делать. Ах! Когда я вспоминаю про свои прежние места, мое положение мне кажется еще более печальным, еще более несносным. И у меня появляется желание сбежать отсюда, распроститься с этими дикарями...



Я как-то встретила барина на лестнице. Он шел на охоту... Он посмотрел на меня каким-то шаловливым взглядом и спросил:

— Ну как, Селестина, привыкли здесь?

Это решительно какая-то мания у него.

— Не знаю еще, барин... — ответила я и затем дерзко прибавила:

— А вы, барин, привыкли?

Барин рассмеялся... Он понимает шутки. Право, славный парень.

— Нужно привыкать, Селестина... нужно привыкать, черт возьми!

Я становилась смелее.

— Я постараюсь, барин... — ответила я, — при вашей помощи...

Я думаю, что он хотел сказать мне какую-то сальность.

Его глаза заблестели, как угли... Но наверху показалась барыня, и мы разошлись каждый своей дорогой. Жаль...

А вечером, проходя мимо залы, я слышала, как барыня своим милым тоном говорила барину:

— Я не желаю, чтобы фамильярничали с моей прислугой...

Ее прислугой! Как будто ее прислуга не его прислуга. Не дурно, право.

## Глава третья

*18 сентября.*

Сегодня утром по случаю воскресенья я пошла к обедне.

Я уже упоминала о том, что, не будучи набожной, я довольно религиозна. Можно говорить и делать что угодно, но религия всегда останется религией. Богатые, может быть, и могут обходиться без нее, но нашему брату она необходима. Я знаю, конечно, что и некоторые миряне ею злоупотребляют и что многие попы и монахини не делают ей чести, но это неважно. В трудные минуты жизни, которых так много бывает на службе у чужих людей, ни в чем нельзя найти такого утешения для своей скорби, как в религии... и в любви. Да, но любовь совсем другого рода утешение... Даже в нерелигиозных домах я никогда не пропускала обедни. Обедня прежде всего связана с уходом из дому, это развлечение; хоть на время можно уйти от тоски в этой казарме. Кроме того, встречаешься с подругами, узнаешь новости, знакомишься с новыми людьми. Ах! Если бы я в свое время прислушалась к этим любопытным псалмам, которые мне нашептывали старички у часовни ассомпционистов, я, может быть, не была бы теперь здесь!

Сегодня погода поправилась. Стоит солнечный день, когда так приятно ходить и когда

рассеивается тоска. От этого золотого солнца и голубого неба у меня, не знаю почему, появляется какое-то веселое настроение.

Мы находимся на расстоянии полукилометра от церкви. Туда ведет красивая дорожка. Весной тут, должно быть, много цветов диких вишен и белых акаций, которые так хорошо пахнут... Я люблю эти белые акации. Они мне напоминают мое детство... Вид кругом самый обыкновенный: широкая долина, окаймленная холмами; по долине протекает речка, а холмы покрыты лесом и все это затянуто прозрачной, золотистой дымкой.

Странно, я остаюсь верна бретонской природе. Она у меня в крови. И красивее всего она мне кажется, и ближе всего моему сердцу. Даже посреди богатой и роскошной природы Нормандии я испытывала тоску по равнине и великолепному бурному морю, где я родилась. И от этих внезапных воспоминаний поднимается какое-то грустное облачко на веселом фоне красивого утра.

По дороге встречается очень много женщин. С молитвенниками под мышкой, они также идут к обедне: кухарки, горничные, скотницы; жирные, неповоротливые, они идут медленно, с развальцем. Какие они смешные в своих праздничных костюмах, настоящие увальни! Видно, что они дальше своей деревни носу не показывали, видно что они никогда не служили в Париже. Они меня

рассматривают с любопытством, в котором проглядывает и симпатия, и недоверие в то же время. Они с завистью рассматривают во всех подробностях мою шляпу, мое узкое платье, мой маленький бежевый жакет и мой зонт с чехлом из зеленого шелка. Мой туалет и еще более, я думаю, моя кокетливая и элегантная манера носить его вызывают в них удивление. Они толкают друг дружку локтями, чтобы обратить внимание на мой шик и мою роскошь. А я продолжаю свой путь легкой и изящной походкой, смелым движением поднимая платье, которое шуршит на шелковых юбках... Чего же вы хотите? Я очень довольна, что мной восхищаются.

Когда они проходят мимо меня, я слышу, как они перешептываются:

— Это новая, из Приерэ...

Одна из них, низенькая, толстая, красная, с отдышкой, с огромным животом, на кривых ногах, подошла ко мне и с расплывшейся, жирной улыбкой на губках сказала:

— Это вы новая горничная из Приерэ? Вас зовут Селестиной? Вы четыре дня назад приехали из Парижа?

Она уже все знает. Она осведомлена обо всем не хуже меня. Как смешно видеть на голове у этой жирной и толстой особы шляпу мушкетера, черную фетровую шляпу с развевающимися перьями.

— Меня зовут Розой... — продолжала она. — Я служу у старого капитана Може... рядом с вами. Вы, может быть, уже видели его?

— Нет, сударыня...

— Вы его увидите через забор, который разделяет эти два владения. Он постоянно в саду работает. Знаете, он еще красивый мужчина!

Мы замедляем шаги, потому что Роза еле дышит. Она хрипит, как опоенная лошадь, и грудь у нее тяжело вздымается. Она говорит, глотая слова:

— У меня мой припадок... О, сколько теперь страданий на свете... прямо невероятно!

Затем, продолжая шипеть и кряхтеть, она обращается ко мне:

— Загляните как-нибудь ко мне, моя милая, если вам что-нибудь понадобится... посоветоваться или мало ли что... не стесняйтесь... Я люблю молодых... Выпьем стаканчик настойки, поговорим... К нам много барышень приходит...

Она остановилась, перевела дух и тихим, таинственным голосом сказала:

— Вы, может быть, хотите, мадемуазель Селестина, адресовать свои письма на наше имя? Я бы вам это советовала. Не мешает. Госпожа Ланлер читает письма... все письма... Она как-то раз под суд попала за такую историю. Повторяю. Не стесняйтесь.

Я поблагодарила, и мы продолжали свой путь.

Ее тело качается, как старое судно в бурном море, однако она теперь, по-видимому, легче дышит, и мы продолжаем болтать:

— Ах! тут вы много кое-чего увидите, прежде всего, моя милая, в Приерэ горничные не держатся... это уж всегда так... Или хозяйка прогонит, или забеременеет от хозяина. Это страшный человек, этот Ланлер. Красивые, некрасивые, молодые, старые... и с первого раза, ребенок! Ах, это известный дом... Это вам всякий скажет. Там плохо кормят, никакой свободы не дают, по горло работы... И эти вечные укоры, крики... Настоящий ад! Вы такая благородная и воспитанная; стоит на вас посмотреть, чтобы сказать, что вы у них не усидите.

Все, что я слышала от лавочницы, мне снова рассказывает Роза с еще худшими подробностями. У нее такая большая потребность болтать, что она совсем забывает о своей болезни. Злословие оказывается сильнее ее астмы... И бесконечно тянется рассказ о домашних делах вперемешку со всякими интимными историями про соседей. Хотя я все уже это знаю, но эти истории так грязны, от них веет таким отчаянием, что меня охватывает тоска. И я задаю себе вопрос, не лучше ли мне уехать... Зачем делать попытку, когда я заранее уверена в неудаче?

К нам присоединяются еще несколько

женщин, которые своими энергичными вставками стараются подтвердить разоблачения Розы. А она, несмотря на отдышку, не перестает тараторить:

— Може очень хороший человек... и одинокий, моя милая... Мне и приходится хозяйкой быть... старый капитан... как же иначе? Где ему хозяйничать? Разве это его дело? Он любит, чтобы за ним ухаживали, чтобы его баловали, чтобы белье хорошо было вымыто, чтобы исполняли его прихоти, чтобы вкусно готовили... Если бы у него не было надежного и верного человека, его бы со всех сторон обкрадывали... Воров тут, слава Богу, сколько угодно!

Интонация, с которой она произносит свои короткие фразы, и блеск ее глаз дают мне возможность самым точным образом определить ее положение в доме капитана Може.

— Не так ли? Человек одинокий, да еще с прихотями. Да и так много работы. Непременно придется взять мальчика на помощь...

Этой Розе повезло... Я тоже часто мечтала о службе у старика. Это отвратительно... Но спокойно, по крайней мере, да и будущее обеспечено... Хоть бы и капитан, даже с прихотями... Как смешны они должны быть оба под одеялом!

Во всей местности, по которой мы проходим, право, нет ничего красивого. Ничего похожего на

бульвар Мальзерб. Улицы грязные, узкие, кривые, дома ветхие, черные, подгнившие, этажи выступают друг над другом на старинный лад. Среди встречающейся публики ни одного красивого лица. В этой местности занимаются башмачным промыслом. И очень многие, которые не успели за неделю исполнить заказ, заканчивают его теперь. Через окна я вижу эти бедные, исхудавшие лица, согнутые спины и черные руки, которые стучат по кожаным подошвам.

Вся местность погружена в какую-то глубокую печаль... Настоящая тюрьма.

Но вот лавочница стоит у своего крыльца, улыбается нам и кланяется:

— Вы к поздней обедне? Я ходила к ранней... Вы еще успеете. Может быть, зайдете на минуточку?

Роза благодарит. Она мне советует остерегаться лавочницы, — это злая женщина и злословит про всех... настоящая ведьма! Затем она начинает перечислять добродетели своего хозяина и прелесть ее службы... Я спрашиваю у нее:

— Значит, у капитана нет семьи?

— Нет семьи? — вскрикнула она. — Конечно, моя милая, вы не здешняя. Ах, есть ли у него семья? Самая настоящая! Целая куча племянниц и двоюродных сестер. Все бездельники, голые, нищие... Как они его объедали... обкрадывали,



нужно было посмотреть! Одна мерзость! Конечно, я навела порядок... очистила дом от всей этой сволочи... Да, моя дорогая, без меня капитан бы с сумой теперь ходил... Ах! Бедный человек! Теперь-то, поди, доволен...

Я продолжаю иронизировать; впрочем, она меня не понимает.

— Что, мадемуазель Роза, завещание-то он верно в вашу пользу напишет?

Она на это осторожно ответила:

— Хозяин поступит так, как он сам знает... Он свободен... Уж я, конечно, на него влиять не буду. Я у него служу из преданности к нему... Но он сам понимает... Он видит, кто его любит, кто за ним ухаживает, кто корыстно о нем заботится. Не думайте, что он так глуп, как некоторые о нем говорят... И больше всех госпожа Ланлер. Чего она только о нас не болтает! Он, напротив, Селестина, хитрый человек, себе на уме...

Во время этой красноречивой защиты капитана мы подошли к церкви.

Толстуха Роза не покидает меня. Она заставляет сесть рядом с ней и начинает бормотать молитвы, класть земные поклоны и креститься... Ах, что это за церковь! Своими толстыми балками, которые поддерживают шатающийся свод, она напоминает сарай. А публика кашляет, плюет, двигает скамейками и стульями, точь-в-точь как в

деревенском кабаке. Лица у всех глупые, невежественные и рты, искривленные злобой и ненавистью. Это все бедняки, которые пришли жаловаться Богу на других. Мне трудно овладеть собой, мне как-то холодно, не по душе... Это, может быть, потому, что в церкви нет органа. Звуки органа захватывают меня всю. Я себя так чувствую, когда я люблю. Если бы я всегда слышала звуки органа, я, вероятно, никогда не грешила бы... Здесь вместо органа бренчит на жалком, расстроенном рояле какая-то дама с голубыми глазами, с черной маленькой шалью на плечах. А публика все кашляет и плюет, и этот шум заглушает псалмопение священника и детского хора. И как тут скверно пахнет! Какой-то смешанный запах навоза, хлеба, земли, гнилой соломы, мокрой кожи и ладана... Право, они плохо воспитаны тут, в провинции!

Обедня долго тянется, и я начинаю скучать. Мне, кроме того, надоело общество этих грубых людей, которые к тому же так мало внимания обращают на меня. Ни одного красивого лица, ни одного красивого туалета, на котором глаз мог бы отдохнуть. Никогда я так хорошо не понимала, что я создана для изящества и для шика... Вместо восторга, как во время обедни в Париже, во мне поднимается чувство протеста. Чтобы рассеяться, начинаю внимательно следить за движениями

священника, который служит. Тоже утешение! Это здоровенный детина, очень молодой, с вульгарным лицом кирпичного цвета. Волосы растрепанные, челюсти хищника, губы обжоры, отвратительные маленькие глазки и темные мешки под глазами. Как нетрудно разгадать его! То-то, должно быть, на еду тратится человек! А на исповеди... сколько пошлостей, наверное, говорит женщинам! Заметив, что я смотрю на него, Роза наклонилась ко мне и очень тихо сказала:

— Это новый викарий... рекомендую. Никто так не исповедует женщин, как он. Настоятель — тот святой человек, это верно, но он слишком строг... Ну а новый викарий..

Она прищелкнула языком и опять принялась за молитвы, наклонив голову над молитвенником.

Нет, этот новый викарий мне не понравился. У него вид грязного и грубого человека. Он скорее похож на извозчика, чем на священника. А мне бы побольше тонкости, поэзии, чего-нибудь изящного и белые руки. Я люблю, чтобы мужчины были мягкие, изящные, как Жан...

После обедни Роза меня тащит к лавочнице. Наскоро и таинственно она мне объясняет, что с ней нужно быть в хороших отношениях и что вся прислуга ищет ее расположения.

Эта тоже маленькая толстушка. Это, положительно, край толстых женщин. Все лицо у

нее в веснушках, волосы светлые, как лен, редкие и местами просвечивает голый череп. На голове смешно торчит какой-то шиньон, как маленький хвостик. При малейшем движении грудь под темным корсажем переливается у нее, как жидкость в бутылке. Ее глаза с красными ободками готовы выскочить. Когда она улыбается, ее губы искривляются в какую-то отвратительную гримасу... Роза нас знакомит:

— Госпожа Гуэн, я к вам привела новую горничную из Приерэ...

Лавочница меня внимательно осматривает, и я замечаю, как взгляд ее останавливается на моей талии, на животе. Она обращается ко мне каким-то глухим голосом:

— Будьте, барышня, как дома... Вы очень красивы, барышня... Вы, наверное, из Парижа?

— Да, госпожа Гуэн, я действительно из Парижа...

— Это видно... это сейчас же видно... Это с первого раза можно заметить... Я очень люблю парижанок... Они, что называется, умеют жить... Я также в молодости служила в Париже... я служила у одной акушерки, госпожи Трипье, на улице Генего... Вы ее, может быть, знаете?

— Нет...

— Ну да... это очень давно уже было. Войдите же, мадемуазель Селестина.

Она нас торжественно проводила в комнату за лавочкой, где за круглым столом уже сидели четыре служанки.

— Ах, и натерпитеcь же вы там! — вздыхала лавочница, подавая мне стул. — Это я не потому говорю, что у меня больше не забирают из замка... Это не дом, должна я вам сказать, а ад... настоящий ад... Не правда ли, барышни?

— Конечно! — отвечают в один голос все четыре служанки с одинаковыми жестами и гримасами.

Госпожа Гуэн продолжает:

— Покорно благодарю! Охота мне была иметь дело с людьми, которые вечно торгуются и кричат, что их обкрадывают и обманывают. Пусть других поищут...

Хор служанок повторяет:

— Конечно, пусть других поищут...

Затем госпожа Гуэн обращается к Розе и уверенным тоном прибавляет:

— Как по вашему мадемуазель Роза, — ведь за ними бегать не приходится, не правда ли? Благодаря Бога и без них обходимся?

Роза вместо ответа только пожимает плечами, но в этом жесте так много желчи, злобы и презрения. И огромная шляпа мушкетера беспорядочным движением своих перьев как бы подтверждает всю силу волнующих ее чувств.

После некоторого молчания:

— Ну! Довольно о них говорить... У меня всегда от этих разговоров живот начинает болеть.

Маленькая, худенькая смуглянка с кошачьей мордочкой, с прыщами на лбу и слезящимися глазами вскрикивает среди общего смеха:

— Да ну их... на самом деле...

После этого начинаются всякие истории.

Это какой-то непрерывный поток сквернословия, который извергается ими, как из водосточной трубы. Кажется, что вся комната заражена миазмами. Впечатление еще усиливается от того, что в комнате темно и человеческие фигуры принимают какие-то фантастические формы. Единственное узенькое окошко выходит на грязный, похожий на колодезь, двор. Здесь пахнет рассолом, сгнившей зеленью, селедкой... Воздух невыносимый. Мои красавицы развалились на своих стульях, как связки грязного белья, и каждая из них порывается рассказать какой-нибудь скандал, какую-нибудь грязную историю. По слабости своей я пробую смеяться вместе с ними, поддакивать им, но мною овладевает сильнейшее чувство отвращения.

Меня начинает тошнить, подступает к горлу, во рту отвратительный вкус, стучит в висках... Мне хочется уйти, но я не могу, и остаюсь на месте с таким же глупым видом и в такой же позе, как они,

и повторяя их жесты. Сижу и слушаю эти резкие голоса, которые мне напоминают плеск воды во время мытья посуды.

Конечно, нападки на хозяев совершенно естественны. Это делают все. Но здесь переходят уже всякую меру. Эти женщины мне противны; я их проклинаяю и говорю себе, что у меня ничего общего с ними нет. Воспитание, общение с изящными людьми, привычка к красивой обстановке, чтение романов Поля Бурже — все это меня спасло от этой пошлости.

Роза овладевает всеобщим вниманием. Моргая глазами, со сладкой улыбкой на устах, она рассказывает:

— Все это пустяки в сравнении с госпожой Родо, женой нотариуса... Ах! Какая там история была...

— Я не верила... — сказала одна.

— Она вечно с попами... — сказала другая. — Я всегда ее такой считала...

Шеи вытягиваются, и все взоры устремляются на Розу, которая начинает свой рассказ:

— Третьего дня господин Родо уехал на целый день в деревню...

Чтобы познакомить меня с Родо, она делает маленькое отступление:

— Подозрительный человек этот нотариус Родо... Какие-то у него все темные дела... Я

заставила капитана отобрать у него деньги, которые он дал ему на хранение... Да! Впрочем, речь не о нем.

После этого введения она приступает к рассказу:

— Господин Родо, значит, был в деревне. Это никому неизвестно. Он, значит, поехал в деревню. Госпожа Родо тотчас же призывает к себе маленького причетника... маленького мальчика Юстина... в свою комнату... подмести там будто бы... Подметать вдруг вздумала! Она была совершенно голая, глаза у нее горели, как у собаки на охоте. Она его подзывает к себе... обнимает... ласкает... затем, говорит, блох будет искать у него и раздевает. И знаете ли, потом что она сделала? Она вдруг бросилась на него и насильно заставила... насильно, да, мои милые... И если бы вы знали, как она это сделала?

— Как она это сделала? — живо спросила маленькая смуглянка, вытягивая вперед свою кошачью мордочку.

Все напряженно слушают. Но Роза становится строгой и скромно заявляет:

— Это при барышнях нельзя говорить!..

«Ах!..» Все разочарованы. А Роза все более и более возмущается:

— Пятнадцатилетний ребенок... разве это слыхано! Такой красавчик... невинный, бедный



мальчик мученик! Не пощадить ребенка... распутная женщина! Когда он уходил от нее, он дрожал, как осиновый лист... плакал горячими слезами... Херувимчик... сердце разрывалось, глядя на него... Что вы на это скажете?

Взрыв негодования, целый поток сквернословия и ругательств... Когда успокоились, Роза продолжает:

— Его мать ко мне приходила и рассказала все... Я, знаете ли, посоветовала подать в суд на нотариуса и его жену.

— Непременно... непременно...

— Вот видите, а она колеблется... и то и другое... Одним словом, она не хочет. Я думаю, не вмешался ли тут священник, он по воскресеньям обедает у Родо. Ну и боится! Ах! Если бы это со мной... Я, правда, религиозный человек, но ни один поп не заставил бы меня молчать... Я бы их заставила раскошелиться. Сотни, тысячи... десятки тысяч франков они бы мне заплатили...

— Непременно... непременно...

— Упустить такой случай? Беда!

И шляпа мушкетера качается, как шалаш во время бури.

Лавочница ничего не говорила... У нее смущенный вид... Должно быть, нотариус у нее в лавке покупает... Она ловко прерывает расходившуюся Розу.

— Надеюсь, Селестина, вы не откажетесь выпить с нами стаканчик смородиновой наливки? И вы, Роза?

Это приглашение успокаивает страсти. При виде бутылки и стаканов, девицы начинают облизываться, глазки у всех разгораются.

Когда мы уходили, лавочница любезно, с улыбкой на устах сказала мне:

— Вы не смотрите, что ваши хозяева у меня не покупают в лавке... Вы заглядывайте ко мне...

Мы возвращаемся с Розой, которая заканчивает обзор местной хроники. Я думала, что запас ругательств иссяк у нее. Но не тут-то было. Она изобретает все новые ругательства, еще более страшные. Это какой-то неиссякаемый источник. Язык ее не знает удержу... Она перебирает решительно всех. Мы с ней дошли таким образом до забора Приерэ... Но и здесь она не может со мной расстаться... и говорит, говорит без конца, стараясь доказать мне свою дружбу и свою преданность. У меня трещит голова от всей этой болтовни, а вид Приерэ меня приводит в отчаяние. Ах, эти большие лужайки без цветов! И это огромное здание, имеющее вид казармы или тюрьмы, где вам кажется, за вами шпионят из каждого окна!

Солнечный жар становится сильнее, туман рассеялся и пейзаж проясняется. В конце долины,

среди холмов виднеются деревушки, залитые розовым светом; речка протекает по долине то зеленая, то желтая, отливающая серебром на излучинах. Легкие облака украшают небо своими красивыми фресками. Но я не могу наслаждаться этим видом. Только одно желание, только один порыв охватывает меня — убежать от этого солнца, от этой долины, от этих холмов, от этого дома и от этой толстой женщины, которая своим злословьем терзает мне душу, приводит меня в бешенство.

Она наконец решается расстаться со мной, берет меня за руку, с чувством жмет ее своими толстыми пальцами и говорит:

— И затем, моя дорогая, имейте в виду, госпожа Гуэн очень милая женщина... и очень ловкая... К ней нужно почаще заглядывать.

Она опять останавливается и с еще большей таинственностью прибавляет:

— Сколько раз она уже молодым девушкам помогла! Как что-нибудь замечают... так тотчас же к ней идут... И никому ни звука. Уж я вам скажу... на нее положиться можно. Это очень... очень умная женщина...

Глаза у нее горят, она пристально глядит на меня и с какой-то странной настойчивостью повторяет:

— Очень умная... и ловкая... и... могила! Это настоящее благословение для нашего края. Ну

идем, моя милая, не забывайте же заглянуть к нам. И почаще заходите к госпоже Гуэн... Вы об этом жалеть не будете... До скорого... до скорого свидания!

Она уходит. Я вижу, как она удаляется, раскачиваясь на своих кривых ногах, идет вдоль стены, забора, затем поворачивает на какую-то дорожку и вдруг скрывается из виду.

Я прохожу мимо кучера-садовника Жозефа, который очищает аллеи. Я думаю, что он сам заговорит, но он молчит. Он только искоса поглядывает на меня с каким-то странным выражением в глазах, от которого мне становится жутко.

— Хорошая погода сегодня, господин Жозеф...

Жозеф ворчит что-то сквозь зубы, сердит за то, что я позволяю себе идти по аллее, которую он расчищает...

Какой это смешной и неотесанный человек. Почему он никогда со мной не заговаривает? И почему он никогда не отвечает, когда я с ним заговариваю?

Дома застаю хозяйку недовольной. Она меня встречает очень сурово и делает выговор:

— Впредь, пожалуйста, не разгуливать так долго.

Я так раздражена, что мне хочется возразить.

Но, к счастью, я овладеваю собой. Я только ворчу про себя...

— Что вы говорите?

— Я ничего не говорю...

— То-то. И я вам запрещаю гулять со служанкой Може. Это очень плохое знакомство для вас... Посмотрите... Все опоздало сегодня из-за вас.

А я говорю себе в это время:

— Наплевать! Нашла дурочку... Я буду говорить, с кем захочу... Буду встречаться с кем вздумается... Что ты, закон для меня, верблюды ты этакий!

Мне стоило только услышать ее пронзительный голос, увидеть ее злые глаза и самодурство, как мгновенно изгладилось то отвратительное впечатление, которое я вынесла от обедни, от торговки и от Розы. Роза и обе лавочницы правы, все они правы. И я даю себе обет встречаться с Розой, заходить к лавочнице, подружиться с этой грязной торговкой, потому что хозяйка мне это запрещает. И с каким-то диким упрямством я повторяю про себя:

— Верблюд, верблюд, верблюд!

Мне стало бы гораздо легче, если бы я осмелилась громко крикнуть это ей, бросить ей в лицо это оскорбление.

Днем, после завтрака, господа уехали в

карете... Уборная, комнаты, бюро барина, все шкафы, буфеты — все было заперто на ключ. Что я говорила? Не угодно ли?

Я сидела в своей комнате и писала письма: матери, Жану и читала «В семье». Какая прелестная книга! И как хорошо она написана! Странно... Я люблю слушать всякие пошлости, но я не люблю их читать. Я люблю только такие книги, над которыми приходится плакать.

За обедом сегодня было потофе. Мне показалось, что господа дуются друг на друга. Барин с каким-то вызывающим видом читал «Petit Journal»... Он мял газету и вращал своими добрыми, смешными и мягкими глазами. Даже тогда, когда он сердится, глаза его остаются мягкими и робкими. Наконец, чтобы завязать, вероятно, разговор, барин, не отрывая глаз от газеты, воскликнул:

— Так! Опять женщину на куски разрезали...

Барыня ничего не ответила. В черном шелковом платье, с резким и суровым лицом, она все сидела и думала... О чем? Может быть, она из-за меня дуется на барина.

## Глава четвертая

*26 сентября.*

За всю неделю я не могла ни одной строчки

написать в своем дневнике. Когда наступает вечер, я себя чувствую утомленной, совершенно разбитой. И я думаю только о том, чтобы скорее лечь и заснуть. Заснуть! Если бы я могла навеки заснуть!

Ах, Боже мой, что это за казармы! Трудно и представить себе.

Из-за какой-нибудь безделицы хозяйка вас заставляет бегать вниз и вверх по этим проклятым этажам... Не успеешь присесть в прачечной и перевести дух, как... день! день! день! нужно подниматься и бежать... Вам неможется — ничего не значит... день! день! день! По временам я чувствую такие страшные боли в поясице, в животе, что готова бываю закричать... Неважно... День! День! День!

Некогда даже болеть, не имеешь права страдать. Это — роскошь, которую могут себе позволить только господа. А мы должны бегать, всегда и скоро бегать... бегать, пока не свалимся... День! День! День! А если вы на зов колокольчика опоздаете немного, посыплются упреки, начнутся сцены.

— Да что с вами такое? Не слышите? Оглохли? Я уже три часа звоню... Это бесит, наконец...

А часто бывает так:

— День! День! День!

Вы соскакиваете со стула, как пружина...

— Принесите мне иголку.

Я бегу за иголкой.

— Хорошо! Принесите мне нитки.

Я бегу за нитками.

— Так! Принесите мне пуговку.

Я бегу за пуговкой.

— Что это за пуговка? Я у вас такой не просила. Вы ничего не понимаете... Белую пуговку, № 4... И скорее!

И я бегу за пуговкой № 4... Вы понимаете, как я бешусь, как я в душе ругаю и проклинаю свою хозяйку? А во время моей беготни взад и вперед, вверх и вниз барыня передумала — ей требуется что-нибудь другое или она совсем раздумала:

— Нет... Отнесите иголку и пуговку... Мне некогда...

У меня спину ломит, ноги подкашиваются, я без сил... Этого и нужно ей было. Она довольна... И говорите после этого, что существует общество покровительства животным...

Вечером, во время своего обхода, она в прачечной налетает на вас, как буря:

— Как? Вы ничего не сделали? На что у вас дни уходят? Я вам плачу деньги не для того, чтобы вы шлялись от утра до вечера.

Такая несправедливость меня возмущает, и я отвечаю немного резко:

— Но вы сами, барыня, меня все время



отрывали от работы.

— Я вас отрывала от работы, я?.. Прежде всего я запрещаю вам мне отвечать... Я не терплю никаких замечаний, слышите? Я знаю, что я говорю.

И это бесконечное хлопанье дверями. В коридорах, на кухне, в саду, по целым часам слышен ее пронзительный крик... Ах, как она надоела!

Право, не знаешь, как к ней подойти... Что у нее там внутри, почему она всегда в таком бешенстве? С каким удовольствием я бы ее бросила, если бы была уверена, что найду тотчас другое место.

Недавно я себя почувствовала хуже, чем обыкновенно... Появилась такая острая боль, что мне казалось, будто какой-то зверь раздирает мне внутренности своими зубами и когтями. Уже утром, когда я вставала, после потери крови я почувствовала себя совершенно обессиленной. Я и сама не знаю, как я могла стоять, таскать ноги и исполнять свою работу. По временам я должна была останавливаться на лестнице, хвататься за перила, чтобы перевести дух и не упасть. Я бледнела, и холодный пот выступал у меня на лбу... В пору было хоть взвыть, но я терпелива и горжусь тем, что никогда не жалуясь своим хозяевам. Хозяйка меня застала как раз в тот

момент, когда я чуть не упала. Все вокруг меня заходило: перила, ступеньки, стены.

— Что с вами? — грубо спросила она.

— Ничего.

И я попробовала выпрямиться.

— Если ничего, то зачем эти манеры? Я не люблю этих кривляний... Служба трудная...

Несмотря на всю мою слабость, я готова была отвесить ей оплеуху.

Во время таких испытаний я всегда вспоминаю свои прежние места... Сегодня я с особенным сожалением думаю о месте на улице Линкольна... Я там была второй горничной, и мне, собственно говоря, нечего было делать. День мы проводили в прачечной, в великолепной прачечной, устланной красным войлочным ковром и уставленной шкафами из красного дерева с позолоченными замками. И сколько мы там смеялись, дурачились, читали, как изображали приемы у нашей хозяйки, и все это под наблюдением английской экономки. Она поила нас хорошим чаем, который хозяйка покупала в Англии для своих утренних завтраков. Иногда старший лакей приносил нам из буфета пирожки, тартинки с икрой, ветчину, целую гору всяких сладостей.

Раз, вспоминаю, после обеда, меня заставили одеть очень шикарную пару нашего хозяина Коко, как мы его звали между собой. Конечно, тут

затевались самые рискованные игры; заходили слишком далеко в этих шутках. Я была так смешна в роли мужчины и так много смеялась, что на панталонах Коко остались мокрые следы...

Вот это было место!

Я начинаю все больше узнавать хозяина. Совершенно верно говорят о нем, как о славном и благородном человеке, потому что в противном случае не было бы на свете такой каналы, такого жулика. Эта страсть к благотворительности толкает его на такие поступки, которые при всех его добрых намерениях влекут за собой самые плачевные последствия для других... И нужно сказать, в результате от его доброты происходили порой мелкие гадости вроде следующей.

В прошлый вторник, один очень древний старичок, дедушка Пантуа, принес шиповник, который ему заказал хозяин, тайно от жены, конечно... Дело было к вечеру... Я сошла вниз за горячей водой для стирки, с которой запоздала. Барыня уехала в город и еще не вернулась. И я болтала с Марианной на кухне, когда в дом с большим шумом вошел барин, такой веселый и радостный, и привел с собою дедушку Пантуа. Он тотчас же велел подать ему хлеба, сыра и сидра. И они стали разговаривать между собой.

На старика было жалко смотреть, до того он был изнурен, худ, грязно одет. Вместо штанов

какие-то лохмотья, вместо шапки какая-то грязная тряпка. Ворот рубашки был расстегнут и открывал часть груди, на которой кожа потрескалась, обветрилась и потемнела, как старая медь. Он ел с жадностью.

— Ну как, дедушка Пантуа... — вскрикнул хозяин, потирая себе руки, — веселее стало, а?

Старик, у которого был полон рот, благодарил:

— Вы добрейший человек, господин Ланлер... С самого утра, видите ли, с четырех часов, как ушел из дому... во рту ничего не было...

— Ну так ешьте же, дедушка, подкрепитесь, черт возьми!

— Вы добрейший человек, господин Ланлер... извините...

Старик отрезал себе большие ломти хлеба и долго жевал их, потому что у него не было зубов. Когда он немного утолил голод, хозяин спросил:

— А шиповник у вас, дедушка Пантуа, хороший, а?

— Есть и хороший, есть и похуже... всяких сортов есть, господин Ланлер. Не выберешь... Трудно рвать, знаете ли... Вот господин Порселле не хочет, чтобы у него в лесу брали. Приходится за ним далеко ходить теперь... очень далеко. Не поверите, ведь я к вам из Районского леса иду, за три мили отсюда. Честное слово, господин Ланлер.

Хозяин подсел к нему и, весело похлопывая его по плечу, воскликнул:

— Пять миль! Клянусь, дедушка, вы все такой же молодой, здоровый...

— Нет уже, не того, господин Ланлер... не того...

— Да что там! — настаивал хозяин. — Здоровы, как старый турок и веселы, черт возьми! Теперь не найти таких, как вы, дедушка Пантуа... Вы — старого закала человек...

Старик качал своей головой и повторял:

— Нет, не того... Ноги плохи стали, господин Ланлер... руки дрожат... Ну и поясница... Ах, эта проклятая поясница! Да и сил уж, как будто, нет... А тут еще жена хворает, с постели не сходит... Одни лекарства чего стоят! Какое уж тут счастье! И старость подкрадывается... Вот что, господин Ланлер, вот что, хуже всего...

Хозяин вздохнул, сделал какой-то неопределенный жест и, философски резюмируя вопрос, сказал:

— Да!.. Но что ж вы хотите, дедушка Пантуа?.. Жизнь... Она дает себя знать... Так-то вот...

— Правильно! Ничего не поделаешь.

— Вот, вот!..

— Да в конце концов что? Не правда ли, господин Ланлер?

— Конечно!

И после некоторого молчания он печальным голосом прибавил:

— У всякого свое горе, дедушка Пантуа...

— Это верно...

Наступило молчание. Марианна что-то рубила, надвигалась ночь... Два больших подсолнечника, которые видны были через открытую дверь, исчезали в темноте... А дедушка Пантуа все ел... Его стакан стоял пустой... Хозяин его наполнил... и вдруг, спускаясь с высот метафизики, спросил:

— А почему нынче шиповник?

— Шиповник, господин Ланлер? Да круглым счетом шиповник в нынешнем году стоит двадцать два франка сотня. Дороговато немного, это верно. Но дешевле не могу, видит Бог!

Как человек благородный и презирующий денежные расчеты, хозяин прервал дальнейшие объяснения старика:

— Хорошо, дедушка Пантуа... Согласен. Разве я когда-нибудь торгуюсь с вами?.. И я вам заплачу за шиповник не двадцать два франка, а... двадцать пять.

— Вы очень добры, господин Ланлер.

— Нет, нет. Я только справедлив. Я стою за народ, за труд...

И, стуча по столу, он набавляет цену:

— И не двадцать пять франков, а тридцать франков, черт возьми. Тридцать франков, слышите, дедушка Пантуа?

Бедный старик посмотрел на хозяина удивленными и благодарными глазами и прошептал:

— Очень хорошо слышу. Приятно на вас работать, господин Ланлер. Вы понимаете, что такое труд, вы...

Хозяин прервал эти излияния.

— Я вам заплачу... сегодня у нас вторник... Я вам заплачу в воскресенье? Заодно уж захвачу с собой и ружье. Согласны?

Глаза старика, которые светились благодарностью, потухли. Он сидел, съежившись, смущенный, перестал есть.

— Может быть... — сказал он робко, — сегодня заплатите? Премного обяжете, господин Ланлер. Только двадцать два франка. Извините.

— Вы шутите, дедушка Пантуа! — возразил хозяин с гордой уверенностью. — Конечно, я вам сейчас заплачу. Ах, Боже мой! Ведь я что вам сказал? Мне только хотелось прогуляться к вам.

Он стал искать по карманам брюк, сюртука и жилета и, как бы от неожиданности, воскликнул:

— Смотрите! Как раз мелких нет. У меня только эти проклятые тысячефранковые билеты...

И с каким-то искусственным смехом он

спросил:

— Пари держу, что вы не разменяете тысячу франков, дедушка Пантуа?

Видя, что хозяин смеется, дедушка Пантуа решил, что и ему нужно засмеяться, и он шутливым тоном ответил:

— Ха!.. ха!.. ха!.. Да я никогда не видал этих проклятых билетов!..

— Ну тогда, значит, до воскресенья! — заключил хозяин.

Он налил себе стакан сидру и чокался с дедушкой Пантуа, как вдруг хозяйка, приезда которой никто не заметил, вихрем влетела в кухню. Ах, какие у нее были глаза, когда она увидела, что хозяин сидит рядом с бедным стариком и чокается с ним!

— Это что такое? — закричала она побелевшими губами.

Хозяин стал бормотать:

— Это шиповник... ты ведь знаешь, моя милая... шиповник... Дедушка Пантуа принес мне шиповник... Все розы замерзли в эту зиму...

— Я не заказывала шиповник... Здесь шиповник не требуется...

Это было сказано резким тоном. Затем она повернулась и, хлопнув дверью, ушла. Меня она не заметила.

Хозяин и бедный старик встали. Смущенные,



они смотрели на дверь, через которую вышла хозяйка. Затем посмотрели друг на друга, не смея слова сказать. Хозяин первый прервал, тягостное молчание.

— Значит, до воскресенья, дедушка Пантуа.

— До воскресенья, господин Ланлер.

— Будьте здоровы, дедушка Пантуа.

— И вы также, господин Ланлер.

— Тридцать франков... Я не отказываюсь...

— Вы очень добры.

И старик на дрожащих ногах с согнутой спиной вышел и скрылся в темном саду...

Бедный барин! Ему, должно быть, достанется. А дедушка Пантуа вряд ли увидит свои тридцать франков — разве уж очень повезет.

Я не хочу оправдывать хозяйку, но я нахожу, что барин не должен так фамильярничать с людьми, которые гораздо ниже его. Это ниже его достоинства.

Я, конечно, знаю, что ему живется несладко и что он старается помочь своему горю, но это не всегда удается. Когда он поздно возвращается домой с охоты, грязный, мокрый, напевая для храбрости, хозяйка его очень плохо встречает:

— Ах! Это очень мило — оставлять меня на целый день одну.

— Но, ведь, ты знаешь, моя милая...

— Молчи.

Она дуется на него по целым часам. А он ходит за ней повсюду и извиняется.

— Но, милая, ты ведь знаешь...

— Оставь меня в покое... Надоел...

На следующий день хозяин, понятно, из дому не выходит, и хозяйка кричит:

— Что ты здесь все ходишь по комнатам?

— Но, милая...

— Ушел бы лучше, отправился бы на охоту или черт тебя знает куда! Ты меня раздражаешь. Убирайся!

И он никогда не знает, что ему делать: уходить или оставаться, быть здесь или еще где! Трудная задача... Но так как хозяйка во всех случаях кричит, то он чаще всего уходит. Так он по крайней мере не слышит ее криков.

Ах, право, жаль его!

На другой день утром, развешивая белье на заборе, я увидела хозяина. Он работал в саду. Ночью ветер согнул несколько георгинов и он подвязывал их к древкам.

Он часто работает в саду, если не уходит из дому до завтрака; по крайней мере делает вид, как будто чем-то занимается на этих клумбах. Все же это лучше, чем умирать с тоски сидя в комнатах. Ему тогда никаких сцен не устраивают. Вдали от жены он совершенно другой человек. Его лицо проясняется, глаза светятся, он становится веселым.

Право, он недурен... В доме он со мной не разговаривает и, погруженный всегда в свои думы, как будто никакого внимания на меня не обращает, а вне дома никогда не пропустит случая сказать мне какую-нибудь любезность, удостоверившись, впрочем, предварительно, что жена за ним не шпионит. Если ему нельзя со мной заговорить, он на меня смотрит и его взгляды еще более красноречивы, чем слова. Меня очень забавляет поддерживать в нем всеми способами это возбужденное состояние, хотя я еще не решила, стоит ли серьезно кружить ему голову.

Проходя мимо него по аллее, где он работал, наклонившись над своими георгинами, я на ходу сказала ему:

— О! Как вы сегодня трудитесь, барин!

— Да! — ответил он. — Эти проклятые георгины! Вы понимаете.

Он мне предложил остановиться на минуту.

— Ну как, Селестина? Надеюсь, привыкаете у нас?

Вечная мания! И это неумение завязать какой-нибудь разговор!.. Чтобы доставить ему удовольствие, я ответила, смеясь:

— Да, барин, конечно. Я привыкаю.

— В добрый час... Это, наконец, не такое уж большое несчастье... не такое большое несчастье.

Он вдруг выпрямился, посмотрел на меня

очень нежным взглядом и повторил: «Не такое большое несчастье», стараясь придумать в это время что-нибудь поумнее.

Расставив ноги, подбоченясь и широко раскрыв глаза, он воскликнул:

— Держу пари, Селестина, что у вас были шалости в Париже! Были шалости!..

Я не ожидала этого и чуть не рассмеялась. Стыдливо опустив глаза, со смущенным видом и стараясь краснеть, как и подобает в таких случаях, я тоном упрека произнесла:

— Ах! Сударь!..

— Отчего же? — настаивал он. — Такая красивая девушка, как вы... с такими глазами!.. Ах! вы, наверное, шалили!.. И тем лучше. Я стою за то, чтобы наслаждаться жизнью, черт возьми! Я за любовь!..

Хозяин как-то странно воодушевлялся. Во всей его сильной, мускулистой фигуре видно было страстное возбуждение. Он вспыхнул весь, страсть горела в его глазах... И мне захотелось окатить его холодным душем. Очень сухо и с достоинством я сказала:

— Вы ошибаетесь, сударь. Вы думаете, что разговариваете со своими прежними горничными. Вы должны знать, что имеете дело с честной девушкой.

И чтобы доказать, до какой степени я была

оскорблена, я прибавила:

— Вы заслужили, сударь, чтобы я все это рассказала нашей супруге.

И я сделала движение, чтобы уйти. Барин быстро схватил меня за руку.

— Нет... нет!.. — лепетал он...

Я и сама не знаю, как мне удалось все это сказать и не расхохотаться.

Он был бесконечно смешон: как-то весь размяк, раскрыл рот, лицо приняло какое-то глупое и трусливое выражение. Он стоял молча и почесывал себе затылок.

Вблизи нас стояло старое грушевое дерево, широко раскинув свои ветви, покрытые лишаями и мхами, несколько груш висело над самой головой. Где-то по соседству насмешливо прокричала ворона. Притаившись у куста, кошка отмахивалась лапкой от шмеля. Молчание становилось все более тягостным для хозяина... Наконец, после невероятных усилий он с какой-то смешной гримасой спросил у меня:

— Любите вы груши, Селестина?

— Да, барин.

Я не сдавалась и отвечала тоном полного равнодушия.

Из боязни быть замеченным женой он колебался несколько секунд. И вдруг, как маленький воришка, быстро сорвал грушу с дерева

и дал ее мне. Ах как он был жалок!.. Его колени сгибались, рука дрожала...

— Возьмите, Селестина, спрячьте ее в своем переднике. Ведь вам на кухне никогда не дают груш?..

— Нет, барин.

— Ну хорошо... я вам еще буду давать... иногда... потому что... потому что... я хочу, чтобы вы были счастливы...

Искренность и пыл его страсти, застенчивость, неловкие движения, смущенная речь и сила, все это привело меня в умиление. Смягчив немного выражение своего лица и улыбаясь, я сказала ему:

— О, Господи!.. Если бы барыня вас увидела!

Он смутился сначала, но, так как нас отделяли от дома густые каштаны, то он скоро оправился и, радуясь тому, что я стала менее сурова, воскликнул:

— Ну что барыня?.. Ну что?.. Смеюсь я над барыней. Надоела она мне... ах как надоела!..

Я строго заметила:

— Вы не правы, барин... вы не справедливы — барыня очень милая женщина.

Он подскочил:

— Очень милая? Она? Ах, Боже мой! Да вы не знаете, что она сделала? Ведь она отравила мне жизнь. Чем я стал из-за нее? Ведь надо мной везде смеются... и все из-за жены... Моя жена?.. Ведь

это... это... корова... да, Селестина, корова... корова... корова!..

Я ему стала читать мораль. Лицемерно расхваливала энергию, хозяйственность и все другие добродетели барыни. Он раздраженно прерывал меня:

— Нет, нет!.. Корова... Корова!..

Я, наконец, успокоила его немного. Бедный! Я им играла с удивительной легкостью. Одного моего взгляда было довольно, чтобы он перешел от гнева к умилению.

— О! Вы такая мягкая, — заговорил он, — такая воспитанная... и такая добрая, должно быть!.. А посмотрите на эту корову!

— Перестаньте, барин... перестаньте!..

Он снова начал:

— Вы такая мягкая... А ведь вы только горничная.

Он подошел ко мне и очень тихо сказал:

— Если бы вы хотели, Селестина...

— Если бы я хотела... чего?..

— Если бы вы хотели... вы сами знаете... вы сами знаете...

— Вы хотели бы, может быть, изменять своей жене со мной?

Он не понял выражения моего лица. Он стоял с выпученными глазами, с раздувшимися венами на шее и влажными губами. Глухим голосом он

ответил:

— Ну да!.. Ну да, конечно!..

— Вы об этом не думаете, барин!

— Я только об этом и думаю, Селестина.

Он весь покраснел.

— Ах, барин, вы опять начинаете...

Он хотел схватить меня за руки и притянуть к себе.

— Ну, да... — бормотал он. — Я опять начинаю. Я опять начинаю... потому что... потому что... я без ума от вас... от тебя, Селестина, потому что я думаю только об этом, потому что я не сплю по ночам, потому что я совсем заболел. И не бойтесь меня. Я не зверь... я... я... вам ребенка не сделаю... клянусь вам. Я... я... мы... мы...

— Замолчите, сударь, и на этот раз я все расскажу вашей жене. Что если бы кто-нибудь увидел вас в саду в таком состоянии?

Он остановился, как пришибленный. У него был какой-то сокрушенный, пристыженный, глупый вид, и он не знал, что делать со своими руками, глазами, куда девать свое тело. Он смотрел на землю у своих ног, на старую грушу, на сад и ничего не видел. Наконец, он снова нагнулся над повалившимися георгинами и, вздыхая, заговорил:

— Я вам только что сказал, Селестина. Я вам сказал это... очень просто... Какая я старая скотина!.. Не нужно этого... и барыне не нужно



говорить. Ведь правда: что если бы кто-нибудь увидел нас в саду?

Я едва удержалась от смеха.

Да, мне хотелось смеяться, но и еще какое-то чувство шевелилось у меня в груди... что-то — как бы это выразить? — что-то материнское. Правда, удовольствия мало было бы спать с хозяином... К тому же одним больше или меньше, разве это могло иметь значение? Но я могла ему дать счастье, и я была бы рада этому, потому что в любви давать счастье другим, может быть, приятнее, чем получать его. Даже тогда, когда наше тело остается нечувствительным к ласкам, мы испытываем огромное наслаждение, когда в наших объятиях мы видим мужчину, совершенно обессиленного, беспомощно вращающего своими глазами... Забавно также посмотреть, что будет с хозяйкой. Подождем немного.

Хозяин целый день не выходил из дому. Он подвязал свои георгины, а после обеда с ожесточением больше четырех часов колот дрова в сарае. С какой-то гордостью я прислушивалась из прачечной к сильным ударам колуна по железным клиньям.

Вчера барин с барыней весь день после обеда провели в Лувье. Барину нужно было повидать своего поверенного, а барыне свою портниху. Ее портниху!

Я воспользовалась этой передышкой, чтобы побывать у Розы, которую я не видела с того памятного воскресенья. Я была также не прочь познакомиться с капитаном Може...

Вот уж действительно редкий тип, доложу я вам. Представьте себе голову карпа с седыми усами и бородкой. Очень сухой, нервный, подвижный, он никогда на одном месте не сидит; он вечно работает то в саду, то в своей маленькой столярной мастерской, напевая военные песни или подражая полковой трубе.

У него красивый, старый сад, разбитый на четырехугольники, со старомодными цветами, которые можно встретить еще только в захолустных деревнях у очень старых священников.

Когда я пришла, Роза сидела под тенистой акацией за деревенским столом, на котором стояла ее корзинка с работой, и штопала чулки, а капитан, сидя на корточках на одной из лужаек, в какой-то старинной полицейской фуражке на голове, затыкал дыры в старой лейке.

Меня приняли очень радушно. Роза приказала мальчику, который полол грядку с маргаритками, принести бутылку с настойкой и стаканы.

После первого обмена приветствиями капитан спросил у меня:

— Ну что, ваш Ланлер еще не лопнул? Да! Вы можете гордиться, вы служите у знаменитого

обжоры. Мне очень жаль вас, моя дорогая.

Он мне рассказал, что раньше они с моим хозяином жили добрыми соседями и неразлучными друзьями. Ссора из-за Розы сделала их смертельными врагами. Мой хозяин упрекал капитана за то, что он унижает свое достоинство, сажая с собою за стол свою прислугу.

Прерывая свой рассказ, капитан как бы призвал меня в свидетели.

— С собой за стол! Ну а если я хочу класть ее с собой в постель?.. Что... я и на это права не имею?.. Разве это его дело?

— Конечно, нет, господин капитан.

Роза каким-то стыдливым голосом прибавила:

— Совсем одинокий человек, не правда ли?..

Это так естественно.

После этой пресловутой ссоры, которая едва не закончилась дракой, прежние друзья не перестают судиться друг с другом.

— Все камения из моего сада, — заявил капитан, — я бросаю через ограду в сад Ланлера. Они попадают в парники, в окна... что ж!.. тем лучше... Ах, какая это свинья! Впрочем, вы сами увидите.

Заметив камень на аллее, он бросился его поднимать, затем очень осторожно подошел к ограде и изо всех сил бросил камень в наш сад. Мы услышали звук разбиваемого стекла. Торжествуя и

задыхаясь от смеха, он подошел к нам и пропел:

— Еще одно окно высажено... чисто сделано...

Роза смотрела на него нежным материнским взглядом. Она была в восхищении от него.

— Какой он проказник! Совсем ребенок! — сказала она мне. — Как он молод для своих лет!

Когда мы выпили по маленькой рюмке настойки, капитан Може предложил мне оказать честь пройтись по его саду. Роза отказалась сопровождать нас, ссылаясь на свою астму, и советовала нам не заставлять себя ждать слишком долго.

— Впрочем, — прибавила она в шутку, — я буду смотреть за вами.

Капитан мне показал все свои аллеи и все клумбы с цветами. Он называл мне наиболее красивые из них, и каждый раз прибавлял при этом, что таких нет у свиньи Ланлера. Вдруг он сорвал маленький, очень красивый и причудливый цветок и, вращая его между пальцами, спросил у меня:

— Ели вы его когда-нибудь?

Я так была ошеломлена этим нелепым вопросом, что не нашлась, что ответить. Капитан подтвердил:

— А я ел. Великолепный вкус. Я ел все цветы, которые здесь растут... Тут есть и хорошие, есть и похуже. Есть и такие, которые мало чего стоят...

Вообще, я все ем...

Он прищурил глаза, прищелкнул языком, потрепал себя по животу и повышенным голосом, в котором звучал какой-то вызов, повторил:

— Да, я все ем!..

Мне захотелось польстить его мании.

— И вы правы, господин капитан.

— Конечно, — ответил он не без гордости. —

И я ем не только растения, но и животных... животных, которых никто не ест... животных, которых никто не знает... Да, я все ем...

Мы продолжали свою прогулку вокруг клумб с цветами, по узким аллеям, где тихо качались на стеблях красивые чашечки, голубые, желтые, красные. Когда я смотрела на эти цветы, мне казалось, что капитан испытывал какие-то радостные ощущения в своем желудке. Он как-то медленно и мягко облизывал языком свои потрескавшиеся губы.

Он еще прибавил:

— И я вам должен сказать: нет таких птиц, насекомых, червяков, которых бы я не ел. Я ел хорьков, ужей, кошек, сверчков, гусениц... Я все ел... Об этом все знают у нас. Когда находят какое-нибудь животное, живое или мертвое, которого никто не знает, тогда говорят: «Нужно снести капитану Може...». Мне приносят, и я съедаю... Зимой, в большие холода, пролетает

много неизвестных птиц... из Америки, еще из более далеких стран, может быть... Их приносят мне, и я их ем. Я держу пари, что нет такого человека в мире, который ел столько вещей, сколько я. Я все ем...

Вернувшись с прогулки, мы сели под акацией. Я уже хотела уходить, как капитан воскликнул:

— Ах!.. Нужно мне вам показать любопытную штуку, вы, наверное, ничего подобного никогда не видели.

И он громко позвал:

— Клебер! Клебер!

— Клебер — это мой хорек, объяснил он мне.

Феномен...

И еще раз позвал:

— Клебер! Клебер!

Тогда на одной ветви, над нами, из-за зеленых и желтых листьев показалась розовая мордочка и два маленьких, очень живых черных глаза.

— Ах! Я так и знал, что он здесь поблизости. Иди сюда, Клебер! Псст!..

Животное проползло по ветви и осторожно спустилось по стволу, цепляясь когтями за кору. Оно было покрыто белой шерстью в рыжих пятнах и передвигалось мягко и грациозно, как змея. Оно встало на землю и в два прыжка было уже на коленях у капитана, который очень нежно стал его ласкать:

— Ах! Мой милый Клебер! Ах! Мой прелестный, маленький Клебер!

Он обернулся ко мне:

— Видели ли вы когда-нибудь такого ручного хорька? В саду, повсюду он следует за мной, как маленькая собачка. Мне стоит только позвать его, как он уже здесь, смотрит на меня, виляет хвостом. Он ест с нами, спит с нами. Право, я его люблю больше, чем человека. Мне давали за него триста франков, я отказался, и не отдам его за тысячу, за две тысячи франков. Сюда, Клебер.

Животное подняло голову к хозяину, вскочило к нему на плечи, нежилось, ласкалось и обвилось вокруг шеи капитана, как галстук. Роза ничего не говорила, она казалась рассерженной.

Вдруг адская мысль мелькнула у меня в голове.

— Держу пари, — сказала я, — держу пари, господин капитан, что вы не сможете съесть своего хорька!

Капитан посмотрел на меня сначала с большим удивлением, затем с бесконечной грустью... Глаза его стали совершенно круглыми, губы дрожали.

— Клебера? — бормотал он, — съесть Клебера?

Очевидно, такого вопроса никто ему никогда не предлагал, ему, который ел все... Перед ним как

будто открылся новый мир съестного.

— Держу пари, — повторила я с жестокой настойчивостью, — что не сможете съесть своего хорька?

Испуганный, грустный, движимый каким-то таинственным чувством, старый капитан поднялся со скамьи. В нем заметно было какое-то необыкновенное возбуждение.

— Повторите еще раз! — прошептал он.

Резко, отчеканивая каждое слово, я в третий раз сказала:

— Держу пари, что вы не сможете съесть вашего хорька!

— Я не смогу съесть своего хорька? Что вы сказали? Вы сказали, что я не буду его есть?.. да. Вы это сказали? Ну так вы сейчас увидите... Я все ем...

Он схватил хорька, моментально переломил ему позвоночник и бросил на дорожку аллеи бездыханный трупик, крикнув при этом Розе:

— Приготовь мне из него рагу на ужин!

И с какими-то безумными жестами убежал и заперся в комнатах.

Я испытывала в течение нескольких минут невыразимый страх. Все еще подавленная своим ужасным поступком, я поднялась, чтобы уйти. Я была очень бледна. Роза проводила меня. Улыбаясь, она сказала мне:



— Я не сержусь за то, что вы это сделали. Он слишком сильно любил своего хорька. Я не хочу, чтобы он что-нибудь любил. Я нахожу, что и цветы он уж слишком сильно любит...

После короткого молчания она прибавила:

— Он вам этого никогда не простит. Этому человеку верить нельзя... Еще бы!.. Старый солдат!..

Через несколько шагов она опять заговорила:

— Будьте осторожней, моя милая. Про вас уже начинают болтать. Вас, кажется, видели вчера в саду с господином Ланлером. Поверьте мне, это очень неблагоприятно с вашей стороны. Он вас разукрасит, если не постарался уже. Будьте осторожны и помните. С этим человеком шутки плохи. С одного раза... ребенок...

Запирая за мной калитку, она простилась:

— Ну, до свиданья! Пойду теперь готовить свое рагу.

Целый день я видела перед глазами маленький трупик бедного хорька на дорожке аллеи.

Сегодня за обедом, когда я подавала десерт, хозяйка очень строго сказала мне:

— Если вы любите сливы, то вы должны просить у меня. Я уж посмотрю, можно ли вам дать, но я вам запрещаю брать самой.

— Я не воровка, барыня, и не люблю слив, — ответила я.

Хозяйка настаивала:

— Я вам говорю, что вы брали сливы.

— Если вы считаете меня воровкой, — возразила я, — то рассчитайте меня.

Хозяйка вырвала у меня из рук тарелку со сливами.

— Барин съел утром пять штук. Всего было тридцать две, теперь осталось только двадцать пять... значит, две украли вы. Чтобы этого больше не было!..

Это была правда... Я съела две... Она их сосчитала! Нет! В жизни таких не видала!

## Глава пятая

*28 сентября.*

Моя мать умерла. Это известие я получила сегодня по почте. Хотя я от нее ничего, кроме побоев, не видела, меня это опечалило, и я много, много плакала... Застав меня в слезах, хозяйка мне сказала:

— Это еще что за манера?

Я ответила:

— Моя мать, моя бедная мать умерла!

Своим обычным голосом хозяйка на это заметила:

— Это несчастье, но я тут ничего не могу поделать. Во всяком случае работа от этого не

должна страдать.

И это все... Ах, право, какая она добрая!

Меня поразило это совпадение между смертью моей матери и мучительным концом маленького хорька, и я почувствовала себя от этого еще более несчастной. Я подумала, что это мне в наказание послано и что моя мать, может быть, не умерла бы, если бы я не заставила капитана убить бедного Клебера... Сколько я ни повторяла себе, что моя мать умерла раньше хорька, ничего не помогало, и эта мысль меня преследовала целый день, как угрызение совести...

Мне хотелось бы туда поехать... Но Одиерн так далеко... на краю света!.. И у меня денег нет. Когда я получу жалованье за первый месяц, мне придется уплатить в контору, и нельзя будет даже заплатить своих мелких долгов, которые я сделала, когда была без места.

Да и зачем ехать? Брат мой служит на казенном пароходе, в Китае должно быть, потому что от него что-то давно уже никаких вестей не слышно... А где теперь сестра Луиза, не знаю... С тех пор, как она с Жаном-ле-Дюффом уехала от нас, о ней ничего не известно... Черт ее знает, где она шатается!.. Может быть, она где-нибудь служит, а может быть, также умерла. И брат, может быть, тоже умер...

Да и что мне там делать, на родине?.. У меня

там никого нет, а от матери, вероятно, ничего не осталось. Ее жалких тряпок и мебели не хватит даже на то, чтобы заплатить, что она задолжала за водку.

Странно, однако... Пока она была жива, я почти никогда не думала о ней, не испытывала желания ее видеть... Я писала ей только, когда меняла место, чтобы сообщить свой адрес. Сколько она меня била... Сколько я настрадалась у нее, у этой вечно пьяной женщины! А после того, как я узнала, что она умерла, у меня душа болит, и я чувствую себя еще более одинокой, чем раньше... Я ясно помню свое детство. Пред моими глазами встают все люди и предметы, среди которых я начала свой трудный жизненный путь... Право, слишком много горя у одних и слишком много счастья у других. Нет на свете справедливости.

Однажды ночью, я вспоминаю — я еще была совсем маленькая, — мы были разбужены звуками рожка со спасательной лодки. О! Как они жалобны, эти звуки ночью, в бурю!.. Еще с вечера дул сильный ветер; в порту все было покрыто пеной от разбушевавшихся волн; только несколько шлюпок вернулось вовремя... остальные, конечно, были в опасности...

Зная, что отец ловил рыбу вблизи острова Сена, моя мать не особенно беспокоилась. Она была уверена, что он приютился в порту острова,

как он делал всегда в таких случаях... Однако, заслышав звуки рожка со спасательной лодки, она поднялась, дрожа всем телом, бледная, наскоро завернула меня в большую шаль, и мы пошли к молу... Моя сестра Луиза, которая уже была большая, и мой меньший брат шли за нами, восклицая:

— Ах, святая Дева!.. Ах, Боже наш!

И она также причитала:

— Ах, святая Дева!.. Ах, Боже наш!

Улицы были полны народу: тут были старики, женщины, дети. На набережной, в тех местах, откуда раздавались крики с лодок, толпились какие-то испуганные тени. На молу трудно было устоять из-за сильного ветра и рева волн, разбивавшихся о каменные глыбы.

Везде было темно, и на берегу, и на море, и только время от времени вдали, в лучах света, падавшего с маяка, белели огромные гребни волн... Несмотря на толчки при восклицаниях: «Ах, святая Дева!.. Ах, Боже наш!..», несмотря на сильный ветер и даже до некоторой степени укачиваемая этими толчками и утомленная шумом, я заснула на руках у матери... Я проснулась в низкой комнате и увидела какие-то темные фигуры, мрачные лица, жестикулирующие руки, я увидела на походной кровати, освещенной двумя свечами, огромный труп... «Ах, святая Дева! Ах, Иисусе, Боже наш!»

Какой это был ужасный труп, длинный, голый, вытянутый; лицо в ссадинах, тело в кровавых шрамах, в синих кровоподтеках... Это был мой отец...

Я его и теперь еще вижу перед своими глазами... Волосы у него прилипли к черепу, а запутавшиеся в них морские водоросли образовали как бы корону на голове... Люди стояли, наклонившись над ним, терли ему кожу горячими суконными тряпками, вдували ему воздух через рот. Тут были мэр, священник, таможенный капитан, морской жандарм... Мне стало страшно, я сбросила с себя шаль и, бегая между ног этих людей по мокрым плитам, стала кричать: «Папа... Мама...» Наша соседка унесла меня из комнаты.

Начиная с этого времени, моя мать стала пьянствовать. Она, правда, сначала попробовала, было, работать на упаковке сардинок, но так как она всегда была пьяна, то хозяева не хотели ее держать. Тогда она сидела дома, тосковала и пила, а когда напивалась, колотила нас... Не знаю, как я в живых осталась...

При первой возможности я убегала из дома, по целым дням играла на набережной, воровала в садах и шлепала по лужам во время морских отливов... А часто мы уходили с маленькими мальчиками по Плогофской дороге в долину, покрытую травой и густым кустарником и

защищенную от морского ветра, и под белыми терновниками предавались всяким грязным забавам. Возвращаясь вечером домой, я заставляла свою мать расprostертой на полу у порога, с испачканным рвотою ртом, с разбитой бутылкой в руке... Часто я должна была перешагнуть через нее, чтобы войти в комнату... Ее пробуждение было страшно... У нее появлялась страсть к разрушению. Не слушая ни моих просьб, ни моих криков, она стаскивала меня с кровати, гоняла по комнате, била меня о мебель и кричала:

— Я с тебя шкуру сдеру!.. Я с тебя шкуру сдеру!

Сколько раз я уже думала, что моя смерть пришла.

Затем она стала развратничать, чтобы было на что пить. По целым ночам не переставали стучаться в двери нашего дома... Приходил матрос и наполнял комнату сильным запахом морской соли и рыбы... Он ложился, оставался час и уходил. Затем приходил другой, также ложился, оставался час и уходил... Сколько драк и диких криков бывало в эти ужасные ночи и сколько раз в дело должны были вмешиваться жандармы!

Целыми годами тянулась такая жизнь... Нас никто не хотел знать — ни меня, ни сестру, ни брата. Нас избегали на улицах. Честные люди прогоняли нас камнями от своих домов, когда мы

приходили попрошайничать или воровать. В один прекрасный день сбежала от нас моя сестра, которая также стала развратничать с матросами. За ней последовал и брат, который нанялся юнгой. Я осталась одна с моей матерью.

В десять лет я уже не была целомудренной. Узнав, что такое любовь по печальным примерам из жизни матери, развращенная грязными забавами, которым я предавалась вместе с маленькими мальчиками, я очень рано физически развилась... Несмотря на лишения и побои, проводя свое время постоянно на воздухе у моря, свободная и сильная, я так выросла, что в одиннадцать лет у меня уже были первые проявления половой зрелости... Я еще казалась подростком, но была уже почти женщиной...

В двенадцать я уже окончательно стала женщиной... и потеряла свою невинность... Насильно? Нет, ничуть. Добровольно? Да, почти... по крайней мере в такой же степени, в какой был наивен и чистосердечен мой порок, мой разврат. Однажды в воскресенье, после большой обедни помощник мастера из сардиночного заведения, старик, мохнатый и вонючий, как козел, с лицом, заросшим густой бородой и волосами, увел меня на песчаный берег со стороны церкви, св. Иоанна. И там в укромном месте под утесом, в темном отверстии скалы, где чайки выют свои гнезда и



матросы прячут свою найденную в море добычу, там, на ложе из гниющих водорослей он овладел мною... без всякого протеста и борьбы с моей стороны... за один апельсин. Его звали смешным именем: г Клеофас Бискуиль...

И вот что для меня непонятно и ни в одном романе я не находила объяснения этому. Г. Бискуиль был некрасив, груб и отвратителен... К тому же за эти четыре или пять раз, когда он меня таскал в эту темную дыру в скале, я, могу сказать, никакого удовольствия от него не получила; напротив. Тогда почему же при воспоминании о нем — а это у меня бывает часто — у меня с уст не срывается проклятий по его адресу? При этих воспоминаниях, которые для меня приятны, я чувствую большую признательность, большую нежность и даже искреннее сожаление о том, что я никогда не увижу больше этого отвратительного человека таким, каким он был на ложе из водорослей.

Да будет мне позволено по этому поводу почтительнейше внести и свою лепту в материалы для биографий великих людей.

Поль Бурже был интимным другом и духовным руководителем графини Фардэн, у которой я в прошлом году служила горничной. Я всегда знала, что он один познал до недостижимой глубины сложную натуру женщины. Много раз у

меня появлялась мысль описать ему этот психологический случай из области любви... Но я не решалась... Не удивляйтесь моим мыслям по такому поводу. Я готова согласиться, что это совсем не свойственно прислуге. Но в салоне графини только и говорили, что о психологии... А это известный факт, что мы всегда думаем о том, о чем думают наши хозяева, и о том, о чем говорят в салонах, говорят также и в людской. К несчастью, у нас в людской не было Поля Бурже, который мог бы осветить те вопросы женской психологии, которые у нас дискутировались... Даже объяснения самого Жана не удовлетворяли меня.

Однажды хозяйка послала меня отнести «спешное» письмо знаменитому писателю. Он лично вручил мне ответ. Тогда я решилась изложить ему вопрос, который меня мучил, и объяснила при этом, что вся эта темная и скабрзная история случилась с одной моей подругой... Поль Бурже меня спросил:

— Кто такая ваша подруга? Девушка из народа? Бедная, наверное?..

— Такая же горничная, как и я, уважаемый учитель.

Бурже сделал гримасу высшего существа, его лицо выразило презрение. Ах черт! И не любит же он бедных!

— Я не занимаюсь этими натурами, — сказал

он... это слишком мелкие душонки... Это даже не души... Это не из области моей психологии...

Я поняла, что в этой среде душу начинают признавать только при ежегодном доходе в сто тысяч франков.

Другое дело Жюль Лёметр, который также был вхож в дом. Когда я ему предложила тот же самый вопрос, он ущипнул меня за талию и вежливо ответил:

— Ваша подруга, милая Селестина, очень славная девушка, вот и все. И если она похожа на вас, то я, знаете ли, сказал бы ей словечко... хе!.. хе!.. хе!..

Этот человек со своей горбатой и смешной фигурой маленького фавна по крайней мере не ломался. Это был добрый малый... Как жаль, что он связался с попами.

При всей этой обстановке я и не знаю, что случилось бы со мной в этом аду, если бы из жалости меня не взяли к себе монахини Понкруа, которым я понравилась своим умом и наружностью. Они не злоупотребляли ни моим возрастом, ни моим неведением, ни моим трудным положением, меня не обременяли работой, не лишали свободы, как это часто бывает в таких домах, где эксплуатация человека доходит до преступления. Это были бедные маленькие создания, хорошенькие, робкие, добрые, которые не решались даже протягивать

руку прохожим или просить милостыни по домам. Часто бывали и очень плохие времена, но кое-как сводили концы с концами... И, несмотря, на эту тяжелую жизнь, они сохраняли постоянную веселость и вечно пели, как зяблики... В их непонимании жизни было нечто трогательное, вызывающее у меня слезы на глазах даже теперь, когда я лучше могу понять их бесконечную, чистосердечную доброту.

Они меня научили читать, писать, шить, стряпать и, когда я усвоила немного эти необходимые знания, поместили меня в качестве помощницы бонны у одного отставного полковника, который каждое лето приезжал с женой и двумя девочками в маленький полуразрушенный замок вблизи Комфора. Это были честные люди, но страшно скучные... и маньяки... Они одевались только в черное платье, и никогда на их лицах нельзя было увидеть улыбки... Полковник поставил на чердаке токарный станок и по целым дням сидел один и точил рюмки из бруска или яйца, которыми хозяйки пользуются для штопанья чулок. Полковница писала прошение за прошением о разрешении открыть табачную торговлю. А две девочки, молчаливые и неподвижные, одна с лисьей мордочкой, другая с физиономией хорька, обе желтые, худые, бледные, с угловатыми манерами, увядали, как растения,

которым не хватает воздуха, воды, света... Они навели на меня тоску... После восьмимесячного пребывания у них я их покинула, не задумавшись над этим, а потом сожалела.

Да и где уж там было думать!.. Вокруг меня кипела парижская жизнь... И мое сердце трепетало от новых желаний. Хотя я и нечасто выходила из дому, но я с глубоким удивлением смотрела на эти улицы, витрины в магазинах, на толпы народа, на здания, блестящие кареты, на нарядных женщин... И когда я вечером уходила спать к себе на шестой этаж, я завидовала другим нашим служанкам, их любовным похождениям, их интересным приключениям... За короткое время, которое я провела в этом доме, я по вечерам на шестом этаже насмотрелась на картины разврата, в котором и сама принимала участие со всей страстью и увлечением новичка. Ах! Сколько у меня тогда было несбыточных надежд и честолюбивых замыслов в этой изменчивой обстановке страстей и порока...

О, да!.. В молодости... когда не знаешь жизни... какие образы, какие мечты не являются только в голове!.. Ах, эти мечты! Шалости... Я ими сыта по горло, как говорил обыкновенно господин Ксавье, этот вконец развращенный мальчишка, о котором речь будет впереди...

И сколько я нашагалась... Ах! Сколько

нашаталась... страшно и подумать...

Я еще не стара, но виды видала на своем веку, видала и людей во всей их наготе... Нанюхалась запаха их белья, их кожи и их души... Несмотря на духи, все это не очень приятно пахнет... Сколько грязи, постыдных пороков, низких преступлений может скрываться в уважаемых домах, в честных семьях под добродетельной внешностью... Ах! Я это знаю!.. Они могут быть богатыми, ходить в шелку и бархате, убирать свои квартиры золоченой мебелью; они могут купаться в серебряных ваннах и блистать своим шиком... Они меня не обманут!.. Все это грязно. А их сердце более отвратительно, чем постель моей матери.

Ах! Как достойна сожаления бедная служанка и как она одинока! Она может жить в больших, шумных, веселых домах и все-таки остается всегда одинокой! Одиночество чувствуешь не потому, что живешь одна, а потому, что живешь у других, у людей, которые тобой не интересуются, для которых ты значишь меньше, чем собака или растение, у людей, от которых получаешь только ненужное или старое или испорченные остатки.

— Вы можете взять эту грушу, она червивая. Съешьте на кухне этого цыпленка, он воняет.

В каждом слове звучит презрение к вам, каждым жестом вас унижают. И нельзя ничего сказать; нужно улыбаться, благодарить, иначе

сочтут за неблагодарную, за злую Иногда, когда я причесывала волосы своим хозяйкам, у меня являлось бешеное желание разорвать им шею. впитаться своими ногтями им в грудь. К счастью, не всегда бывают такие мрачные мысли на уме. Забываешься и стараешься развлечься среди своих.

Заметив мое грустное настроение сегодня вечером, Марианна почувствовала нежность ко мне и захотела меня утешить. Из глубины буфета, из-под груды старых бумаг и грязных тряпок она вытащила бутылку с водкой...

— Не нужно так грустить, — сказала она мне. — Нужно немного встряхнуться, моя милая... подкрепиться.

Налив мне водки и положив локти на стол, она целый час тягучим голосом и вздыхая рассказывала мне печальные истории своих болезней, родов, смерти матери, отца и сестры... Ее голос становился все более и более глухим, глаза наполнялись слезами, и, облизывая свой стакан, она повторяла:

— Не нужно так огорчаться. Смерть вашей матери... ах! это большое несчастье... Но что ж поделаешь? Мы все порем... Ах, Боже мой! Ах! Бедная малютка..

Затем она принялась вдруг плакать, и плача причитала:

— Не нужно огорчаться... не нужно

огорчаться...

Сначала она только причитала, но скоро начала реветь во весь голос и все сильнее и сильнее... Ее толстый живот, огромная грудь и тройной подбородок поднимались, как волны, от этих всхлипываний.

— Перестаньте, Марианна, — говорила я ей. — Еще услышит хозяйка и придет сюда.

Она не слушала меня и еще пуще заливалась:

— Ах, какое горе!.. Какое большое горе!..

Меня тошнило от водки и сердце болело при виде слез Марианны, и я тоже заплакала... Все-таки... она недурная женщина...

Но мне скучно здесь... скучно... скучно! Я предпочла бы служить у кокотки или даже в Америке.

## Глава шестая

*1 октября .*

Бедный барин! Мне кажется, что я была слишком резка с ним тогда в саду. Может быть, я меру перешла? Он, глупый, воображает, что ужасно оскорбил меня и что я неприступная добродетель. Ах! эти умоляющие взгляды, они как будто всегда просят извинения у меня...

Хотя я стала любезнее с ним, он мне больше ничего не говорит о своих чувствах; он не решается



еще раз на прямую атаку, не решается даже прибегнуть к классическому приему — попросить пришить пуговицу к штанам. Это грубый прием, но часто удается. Боже мой, сколько я попришивала этих пуговиц на своем веку!

Однако видно, что в нем кипит страсть, что он все более и более страдает от этой страсти. Но он становится вместе с тем все более робким. Ему страшно решиться на что-нибудь. Он боится окончательного разрыва и не доверяет моим ободряющим взглядам.

Однажды он подошел ко мне с каким-то странным выражением в блуждающих глазах и сказал:

— Селестина... вы... вы... очень хорошо... чистите... мои сапоги... Очень... очень... хорошо... Никогда... их... так... не чистили...

Я так и ждала, что последует прием с пуговкой. Но нет... Барин задыхался, глотал слюну, как будто он съел слишком большую и слишком сочную грушу.

Затем он позвал свою собаку и ушел. Но вот что было еще забавней.

Вчера хозяйка уехала на базар — она сама все закупает на базаре; барин ранним утром ушел с ружьем и собакой. Он рано вернулся, убив трех дроздов, и тотчас вошел в свою уборную, чтобы принять душ и переодеться. Нужно сказать, что

барин очень чистоплотен и не боится воды. Я подумала, что момент был благоприятный, чтобы попытаться сделать ему удовольствие. Бросив работу, я направилась к уборной и в течение нескольких секунд простояла у дверей, приложив ухо к замочной скважине. Барин ходил взад и вперед по комнате, насвистывал и напевал какую-то песенку.

Я слышала, как он двигал стульями, открывал и закрывал шкафы, как струилась вода из душа, как он вскрикивал «ах», «ох», «фу», «бррр». Вдруг я открыла дверь...

Барин стоял лицом ко мне, весь мокрый и держал в руках губку, из которой текла вода... Ах! эта голова, эти глаза, эта неподвижность! Никогда, мне кажется, я не видела человека таким ошеломленным. Под рукой не было ничего, чем бы он мог прикрыться, и он инстинктивно стыдливым и комичным движением воспользовался губкой в качестве фигового листа. Мне стоило большого труда удержаться от душившего меня хохота. Я заметила, что у него было много волос на плечах и грудь, как у медведя. И все-таки это был красивый мужчина, черт побери!

Я, конечно, испустила подобающий случаю крик стыда и ужаса, выскочила из уборной и захлопнула за собой дверь. За дверью сказала себе: «Он меня, конечно, сейчас позовет. И что же

дальше будет?» И прождала несколько минут. Ни звука. «Он размышляет, — думала я, — не может решиться... Но он меня сейчас позовет...» Напрасно... Скоро вода заструилась. Затем я услышала, как он вытирался, фыркал, шлепал туфлями по паркету, двигал стульями... Открывал и закрывал шкафы... Наконец, он стал напевать свою песенку.

— Нет, право, как он глуп! — прошептала я про себя, сердитая и злая.

И я ушла в прачечную и решила, что он от меня никаких радостей не увидит.

После обеда барин с очень озабоченным видом не переставал увиваться за мной. Он подошел ко мне на черном дворе, когда я несла корм для кошек. Чтобы посмеяться немного над его испугом, я стала извиняться за то, что было утром.

— Это ничего, — протянул он. — Это ничего... Наоборот...

Он хотел меня задержать и пробормотал что-то. Но я его оставила там, с недоконченной фразой, в которой он запутался, и строгим голосом сказала:

— Прошу извинения, барин. Мне некогда разговаривать с вами... Меня ждет барыня...

— Послушайте, Селестина, одну минуту...

— Нет, барин.

На повороте аллеи, которая ведет в дом, я

снова увидела его... Он стоял на том же месте. Опустивши голову и согнув ноги, он все смотрел на кучу навоза и почесывал себе затылок.

После обеда у барина с барыней произошла перебранка.

Барыня говорила:

— Я тебе говорю, что ты ухаживаешь за этой девкой.

— Я? Тоже выдумала!.. Подумай, милая. За такой потаскухой, грязной девкой, которая, может быть, еще страдает дурной болезнью... Это уж слишком!

— Как будто я не знаю твоего поведения. Твоих вкусов...

— Позволь... Позволь!..

— А все эти грязные женщины, за которыми ты увиваешься в деревне!

Я слышала, как паркет затрещал под ногами барина, который в большом возбуждении стал ходить по комнате.

— Я? Вот выдумала! Откуда ты все это берешь, моя милая?

Барыня с упрямством продолжала:

— А маленькая пятнадцатилетняя Жезуро! Несчастный! Пятьсот франков мне за нее пришлось заплатить! Был бы теперь, может быть, в тюрьме, как твой вор-отец...

Барин перестал ходить. Он сел в кресло и

молчал.

Барыня закончила разговор:

— Впрочем, мне все равно! Я не ревнива. Ты можешь себе спать с этой Селестиной. Но чтобы это мне денег не стоило.

Ну, погодите же! Я вас обоих проучу.

Я не знаю, верно ли заявление барыни, что барин увивается за деревенскими девицами. Но если это и так, то он совершенно прав, раз он получает удовольствие от этого. Он здоровый человек, много ест. Ему это нужно. А барыня ему никогда этого не дает. По крайней мере, с тех пор как я здесь. Я в этом уверена. И это тем более необыкновенно, что у них одна кровать. А горничная, да еще при этом ловкая и с глазами, великолепно знает все, что происходит у хозяев. Ей даже не нужно подслушивать у дверей. Уборная, спальня, белье и многое другое все ей расскажут... Непонятно даже, эти люди хотят читать мораль другим и рекомендуют воздержание своей прислуге, а сами даже не умеют хорошенько скрыть следы своих собственных любовных походов. Есть даже такие, которые сознательно или бессознательно, или в силу какой-то странной развращенности испытывают потребность выставить их напоказ. Я не причисляю себя к неприступным и я люблю посмеяться, как и все. Но право! Я видела такие супружеские парочки — и

еще какие почтенные, — которые переходили в этой области всякие границы.

В начале моей службы мне иногда странно было видеть своих хозяев после... на другой день... Я смущалась... За завтраком я не могла заставить себя смотреть на них, смотреть им в глаза, видеть их губы, руки. И часто барин или барыня мне говорили:

— Что с вами? Разве так смотрят на своих господ? Будьте внимательны к своим обязанностям.

Да, вид их вызывал у меня какие-то мысли, образы... Как бы это сказать? Желания преследовали меня целый день, и, не имея возможности их удовлетворить, я с какой-то дикой страстью упивалась своими собственными ласками.

Теперь привычка видеть вещи в их настоящем свете приучила меня к другому жесту, более соответствующему действительности. При виде этих лиц, с которых ни краска, ни туалетная вода, ни пудра не могли стереть следов этой синевы под глазами, при виде их я пожимаю плечами... И как мне от них достается назавтра, от этих честных людей, с этим важным видом, с добродетельными манерами, с их презрением к девушкам, которые позволяют себе шалости, с их нравоучительными наставлениями:

— Селестина, вы слишком засматриваетесь на мужчин, Селестина, неприлично разговаривать по

углам с лакеями. Селестина, мой дом не увеселительное заведение. До тех пор, пока вы у меня на службе и в моем доме, я не потерплю... И т. д. и т. д.

Это не мешает вашему хозяину, вопреки всей этой морали, бросать вас на диваны и таскать по кроватям, и за грубое и эфемерное наслаждение наградить ребенком... А вы затем устраивайтесь как знаете. А если вы не умеете устраиваться, то хоть тресните со своим ребенком. Это его не касается... В их доме!.. Ну! ну!

На улице Линкольна, например, это всегда бывало по четвергам, очень регулярно. Тут никаких ошибок не случилось. По четвергам бывали журфиксы у барыни. Приходило много народа, много разнообразных женщин, болтливых, ветреных, бесстыдных, неведомо каких! Понятно, что они между собою немало говорили о всяких неприличных вещах, и это возбуждающим образом действовало на хозяйку! А затем вечером — опера и все прочее. То ли, другое или третье, но верно то, что каждый четверг... извольте радоваться!..

Если у хозяйки был приемный день, то у хозяина, у Коко была приемная ночь. И что за ночь!.. Нужно было видеть на другой день уборную, его комнату: мебель в полном беспорядке, повсюду разбросано белье, по коврам разлита вода... И как тут сильно пахло...